

ИОСИФ ГАЛЬПЕРИН

РАССКАЗЫ

Шведская штурка



Иосиф Гальперин
Шведская штучка

«Автор»

2023

Гальперин И. Д.

Шведская штучка / И. Д. Гальперин — «Автор», 2023

Двенадцатая книга прозы Иосифа Гальперина, поэта и писателя, живущего в Болгарии, собрала истории разные, но одинаково достоверные. Трагические и насмешливые, о любви и о судьбе, о гении и о глупости, о верности и упорстве — непридуманные рассказы о личных встречах с вечными ценностями. Близкие и далекие люди, уральские реки и греческие острова, попугаи и коты — все, что тронуло автора, чем он надеется тронуть читателя.

© Гальперин И. Д., 2023

© Автор, 2023

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Вместо предисловия | 6 |
| Машинка для точки лезвий | 7 |
| Библиотека приключений | 9 |
| Подводные крылья | 20 |
| Крепкая мужская спина | 23 |
| Первая проза | 26 |
| Гражданин мира | 28 |
| Tiger, tiger... | 32 |
| Зазноба | 34 |
| Лапа | 37 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 40 |

Иосиф Гальперин

Шведская штучка

Вместо предисловия

Что видел, что почувствовал, о чем подумал – или сразу, или заметно погодя. Что люди рассказали, доверили, чему посочувствовал. Что понял или подумал, что понял. Вот такая у меня получилась проза. Почти ничего не придумал – за полвека в журналистике как-то неприлично мне стало фантазировать, тем более что видел и чувствовал достаточно, чтобы не нуждаться в фантазиях, чтобы писать о том, что действительно тронуло. В Оренбурге и в Башкирии, в Москве и в Питере, в Крыму и в Одессе, в Болгарии и в Греции, в Париже и в Поволжье. Разве что соединял, смешивал рассказанное и недосказанное, пережитое одним человеком разделял на многих, пережитое несколькими соединял – по однотипности – в одну судьбу. Но уж тогда делал это явно и прозрачно, потому что видел в этой судьбе важное не мне одному.

Однако чистой публицистики здесь нет, она в других моих текстах и книгах. Но и не уворачивался, если необходимым казалось высказаться, определиться.

А получилось, что больше всего рассказов я написал о любви. Самой разной, близкой мне и чуждой. Самой обычной и самой земной.

Я расположил мои 36 рассказов по движению лет, вышел как бы единый текст, тем более что в стиле я не изощрялся. Иногда и стихи добавлял – те, что уж точно относились к сюжету.

Машинка для точки лезвий

Как зубец на осциллограмме: волна времени бежит вперед, оставляя за собой прошедшее, накатывая на будущее, только острие имеет отношение к настоящему. Именно оно, как лезвие, сдирает корку, обнажая реальность, но тут же бежит дальше. Успел увидеть, осознать, перед тем как волна унесла реальность в прошлое, – увиденное с тобой. Помогает понимать, готовиться к будущему.

Или как кардиограмма.

У деда было много бритв. Даже опасная, и к ней – точильный ремень на деревянной держалке, напоминающей валёк для отбивания белья, экономивший мыло. Мне кажется, из дедовых сокровищ (для меня ценных, хранившихся под двухметровой столешницей в разных коробочках) эта бритва, как и ефрейторский суконный погон, имела отношение и к отцу, к его военному прошлому. А может заблуждаюсь, смешивая воспоминания о действе отца со взбитой «Негой» (мыльный порошок) в железной чашечке, облезлым помазком, сбритой пеной с черными крапинками щетины – и представления о символе бритья, главного мужского отличия, опасной бритве...

Бабушка брила деду голову. Я тихонько думал: как же так, уж сколько раз они ругались из-за того, что дед не помогает по хозяйству, точнее, ругалась она, а он только бешено зыркал и покрикивал на незнакомом языке, как же так – он не боится подпускать ее с такой опасной бритвой в руке к своей голове. Видно, чего-то не понимаю.

Из-за бритой головы дед не мог обходиться без шляпы – на оренбургской-то жаре тем более. Смешно – жили в крохотной комнатухе, а он ходил в соломенной шляпе и с красивой палкой. Зачем? Он же быстро бегал, зачем ему опираться?

Остальные бритвы были безопасные, я рассматривал, как и марки с приходящих деду бандеролей, десятки этих лезвий, в основном – «Нева» и «Ленинград», но попадались и «Матадор» и «Золинген», иностранными буквами. Такие же буквы были на опасной бритве, наверное поэтому я относил ее к отцовскому миру, чувствовал трофей. Ну вот зачем дед хранил эти маленькие картонные пачечки с завернутыми в полупрозрачную вощеную бумагу давно использованными лезвиями? Из бухгалтерской своей аккуратности? От ощущения бедного человека, что вещи нельзя выбрасывать, могут пригодиться? И не только для моих мальчишеских занятий.

Дед точил безопасные бритвы не на ремне, разумеется, а специальной очень забавной зеленой, помнится, машинкой. Дергаешь за шнурок – и абразивные плоскости скребут лезвие, закрытое внутри. Аналоги, думаю, теперь исчезли, как и многие другие изобретенные для бедного человечества механизмы. Я не видел, чтобы дед брился обновленными темными или светлыми (в зависимости от марки) стальными листочками, у него на каждый день хватало и новых. Да не был он скупым: кроме шляп и палок любил другие красивые вещи, например, менял станки (старые не выбрасывал) для лезвий. А лезвия – точил!

Снимал очки, рассматривал, оценивал скрытую от глаз работу абразива внутри машинки. Улучшал действительность? Играл со временем, испытывал его? Так, возможно, и человеческое сознание, непонятно под что заточенное, с неведомыми ему самому целями испытывает мир. Скользит лезвием взгляда (разной остроты) по доступному настоящему.

После его смерти остались десятки пачечек с переточенными лезвиями. Он же должен был понимать, что они останутся, что на его жизнь хватит и меньшего количества, а никто другой ими пользоваться не будет. Разве что я мог бы обточить кусочек коры под кораблик для лужи, но когда дед умер, мне было уже шестнадцать и жил я в другом городе.

Покупаю сейчас картриджи для «Шика», одного лезвия мне хватает на много месяцев. И каждый раз усмехаюсь: на сколько лет рассчитана эта пачка?

Библиотека приключений

1.

Я царь царей и царь Ассаргадон... нет, не так... Я царь земных царей... Нет, мама читала, когда я лежал: «Я вождь земных царей и царь Ассаргадон». А мне лезет в голову «я царь царей». Наверное, в «Глиняных книгах» запомнил, там вроде тоже есть надпись, откуда Валерий Брюсов взял эту наглость. Конечно, книжку эту он не читал, она недавно издана, лет пять назад, но там же написано, что русские ученые расшифровывали ассирийские таблички, а Брюсов любил ученых. А мне царь царей больше нравится, вождь – это как-то похоже то ли на Чингачука, то ли на Ленина, а там время-то другое. Ассирия. Скачут на колесницах и с пленных кожу сдирают. «Владыки и вожди, вам говорю я: горе!» Красиво – «го...рю я горе!» Почему, если он стал главным, то всем остальным – горе? Победил, царь горы, всех снежками забросал. Здесь зимой на Первомайской мы тоже в царя горы играли, ну не здесь, напротив дома, около библиотеки, а в самом начале, у лесопосадок, когда из школы шли.

Нет, в библиотеку больше не пойду. Пока время есть – можно и подальше, а там все равно ничего нового нет, Казанцева я уже прочитал. Мне здесь разрешали по три книги сразу брать, на неделю, вот и перестарался. Детская! А приключений у них маловато... Чего там приключений – даже довольно занудных исторических не найдешь. Хорошо, мама-историк и «Глиняные книги» и «День египетского мальчика» купила вдобавок к совсем уж малышovým «Героям Эллады». Тяжелые, вообще-то, книги: про войны, истребление племен, рабский труд. Не хотел бы я быть египетским мальчиком, рядом надсмотрщик с кнутом, когда маленьким был – даже снилось...

То ли дело сейчас! Могу зайти вот в этот дворец Орджоникидзе, попробовать пройти в спортзал и побросать мячик в кольцо. Нет, в секцию народных инструментов не пойду, такие страшные балалайки стоят у входа – больше меня, хотя и на пианино не тянет, пусть лучше Ленка ходит, она усидчивая. А я – улежливый! Два года, практически, потерял с этим ревмокардитом, все книги дома перечитал, приходится теперь к Домжиным переться. Улица Ульяновых. Хм, а их много было... ну да, фамилия-то простая...

А интересно, если бы им пришлось, как нам зимой, стоять пять часов в очереди за молоком, то сколько бы им выдали? В одни руки – три литра, нам-то хватало, а у них семья большая, значит, надо было бы и детишкам вставать, чтобы всем на кашу хватило. Как бы они на эту хрущевскую заваруху посмотрели?

Вот и восьмизатка. Хорошо, что такой дом издалека видно, сразу понятно, сколько идти, не заблудишься. С украшениями! Значит, теперь налево, там внизу еще «Ашхана» написано. Жаль, конечно, что Домжины уехали в Будапешт, в военную газету, но мне же разрешили брать у них книги, Лида, тети-Машина сестра, должна быть дома. У нас я все уже перечитал, и «Монте-Кристо», и даже Апулея, а у них полностью вся «Библиотека приключений» в шкафу стоит, под стеклом. «Туманность Андромеды» мне купили, а где сейчас купишь ефремовскую «На краю Ойкумены», она же давно выходила, лет шесть назад? А здесь на третьем этаже на полке стоит, если не дотянусь – Лида достанет.

Долго не открывает. Может, звонок не работает? Отсюда не слышно. Постучу ка я ногой!

2.

Ой! Я тогда достучался, достукался. Застукал... Открыла Лида в комбинации, а за ней маячил в глубине коридора Леня. Мой пятиуродный брат (или дядя? Они всё с мамой не могли мне объяснить. А может, я не вникал).

Называл я его дядей, а почтение еще было вызвано тем, что медальным профилем и одесскими шуточками он в моих глазах светился настоящим Остапом. А тут получается не «золотой теленок», а целый «золотой осел». Леня сказал что-то дружески мужское, настоящее, я много лет помнил эту простую многомерную фразу, но теперь не буду портить впечатление и выдумывать – ведь не вспомню. Конечно, никому об этой истории я не рассказывал. Взял «На краю Ойкумены» и пошел обратно, фантазируя их с Лидой светлое будущее.

Впрочем, фантазий и приключений в жизни юного Лени Залмана хватало и без меня. Спокойный, но не тихий еврейский юноша, отказавшись от сомнительных усилий получить образование в родном городе, успел через тернии стать студентом в далеком Куйбышеве, добавляя к стипендии необходимые для молодой жизни в чужом городе средства с помощью, весьма вероятно, некоторых способов из нетленного бендеровского арсенала. Но с фундаментальной подготовкой в одном случае: «клуб четырех коней» не основывал, поскольку научился выигрывать призы в настольные игры в чужих клубах. Успешнее шли международные шашки, то есть – стоклетки.

Надо сказать, что папа мой, Давид Гальперин, тоже играл в эти шашки, перед дембелем успел стать чемпионом Туркмении, пока его передислоцированная фронтовая часть ожидала приказа войти в дружественный, до некоторой степени, Иран. И потом, даже обзаведясь семейством, увлечения не бросал и стал уже в Уфе чемпионом Башкирии, кажется, первым в ее истории. Но подтянулись новые спортсмены, и отец стал судить соревнования. Помню, на одном турнире в Уфе, где он был замглавного судьи, играли почти все тогдашние звезды, даже Исер Куперман, многократный (пять раз? Восемь – но в сумме потом?) чемпион мира. Представляете: открываю дверь звонящему в нашу полукоммуналку (две комнаты в «трешке») – а там знаменитость с букетом. Европейский же человек, приглашен в семью, где есть хозяйка!..

Правда, больше я запомнил на том чемпионате Союза не его, а молодого гроссмейстера Могилянского из Риги: тот за своим столиком на сцене, обдумывая ход, нервно дрыгал ногой, а на ней между штаниной и ботинком была видна полоска кожи! Так я первый раз в жизни увидел короткие носки, где резинки были вшиты, а не крепились специальным ремнем к икрам. Могилянский моему боязливому взгляду показался бонвиваном и фрондером. Да еще из Риги! Да еще и в международные шашки!

Само это слово было с приятным душком, тоже манило какими-то зарубежными приключениями, почти как «На краю Ойкумены». Но здоровый Залман, получив диплом, спортивную карьеру притормозил и с головой ушел в прибыльное строительное дело. А перед этим успел стать чемпионом России, на том турнире его и нашел мой отец. Он там был с башкирской командой, разговорился с Леней, удивился, что у него фамилия, похожая на имя, а потом, путем долгого разговора, выяснил, что он из фамилии, большой семьи, родственной нашей маме, его родной жене.

Ну и закутились переговоры. Пока Залман выигрывал, папа активировал свои связи с евреями-начальниками из Уфы. Как-то так сложилась, очевидно, по причине большой нужды в специалистах, что в Уфе, строившей нефтехимию и авиамоторы, на время забыли про официальный антисемитизм, и начальниками крупнейших стройтрестов оказались евреи. Вот папа им и сосватал еще одного. Залман защищал диплом, а в молодежной газете, где папа был ответсексом, появилась заметка: «Молодой инженер-строитель из Башкирии мастер спорта Леонид Залман стал чемпионом России по международным шашкам».

Потом папа с Залманом долго смеялись над этим текстом, в котором абсолютно верными были только последние слова. Да, Леня выиграл именно первенство России именно по стеклоткам, но мастером он стал лишь по итогам турнира. А уж уфимцем и инженером-строителем – и того позже. Вот она, организующая сила советской печати!

Конечно, у нас дома он был радостно ожидаемым гостем, но я не подозревал, что и в квартире над «Ашханой» его принимали столь радушно. Однако эти радости всеобщего признания не удержали Леню в Уфе, он вернулся в родную Одессу, где плотно занялся строительством не только на госслужбе. Женился на еврейке (Лида могла не трепыхаться...), как и планировалось в семье, дорос впоследствии до замначальника в стройконторе, поселился в старом доме у Нового рынка, на близкой станции Фонтана построил «халабуду» – типа причала, мини-дачи. В шашки профессионально играть бросил, зато стал тренером для единственной дочери-чемпионки.

Поздний ребенок, она совершенно по-одесски была обречена идти учиться музыке по стопам матери-пианистки, но пошла по линии отца. Она выросла красивой большой девушкой, ее карьере не помешало даже экзотическое, мягко говоря, имя Любляна, производное от смешения неуступчивых желаний родителей: мама хотела Любу, а папа (возможно, в честь какой-то романтической встречи в юности) – Лану. Получилась столица Словении. Но чемпионкой она стала не там, а в Украине, да и в Штатах, куда они переехали, как и многие одесситы после развала Союза, спортивные успехи помогли утвердиться.

А до отъезда семьи Залманов в Америку мы пару раз успели съездить к ним в Одессу. Так сказать, с ответным визитом. Отец в Одессу не ездил принципиально, после того как во время единственного послевоенного визита узнал, кого именно из его друзей сдал немцам дворник, да еще на пляже у него украли паспорт, да еще вдруг проснулась наследственная астма. Поехали мы с Любой и маленькими дочками, я прошел по отцовским следам и увидел в их бывшей квартире на Либкнехта, 42 невыносимый – огромный! – стол, который, по словам бабушки, ей подарил младший брат, ординарец легендарного комбрига Котовского, впоследствии и сам комбриг, конечно, до следствия...

В первый раз жили у Залмана, у Нового рынка. Незабываемые одесские плотные завтраки (после забытой разносолы Уфы) с хамсой, картошкой, лучком и помидорами, которые готовила старая дама – Лёнина теща, высоченные, после наших стандартов, потолки, бронзовые дверные ручки нажимного действия, которые легко поворачивал, бросаясь на них с разбега, солидный короткошерстый кот, Любляна, из-под палки барабанившая гаммы... Одесситы были счастливы, услышав в исполнении нашей двухлетней дочки слова, обращенные к старшей сестре: «Тебе нельзя селедку, у тебя же пощки!»

Леня был уже не Бендер, хотя так же медно сиял его чеканный профиль. Но кто знает, кем был бы Остап в возрасте за сорок, с приличным постоянным заработком и окруженный счастливой семьей? И не чувствовалось в нем главного бендеровского качества: естественного противостояния системе, при всей крупности личности не видно было онтологической оппозиционности, культурного диссидентства. Я вспомнил другого родственника, моего тезку: я ему – о дурости Хрущева и безликости Брежнева, а он мне: «Правильно говоришь! И разве сейчас краковская похожа на прежнюю колбасу, настоящую!». О книгах мы не говорили, о вкусах не спорили.

И потом, через десяток лет, в гостинице «Измайловской», перед вылетом их семьи в Штаты, мы все больше говорили о ерунде, а не о том, что я тут, в Москве, занимаюсь бесцензурной журналистикой, что мы тут, в Москве, надеемся на демократию. А на что он там надеется, в демократичных Штатах, в свои пятьдесят с большим хвостиком, без языка и дефицитной профессии, он особенно и говорить не хотел. Только радовался, что у Любляны уже есть имя в шашечном сообществе.

Вот странно, понял я потом, что первыми дернули из Страны Советов люди, до того прекрасно в ней устроенные, по крайней мере – лучше устроенные, чем те, кто не стеснялся ее скрыть, ну во всяком случае ее отдельные недостатки. Даже теперь, уже и сам обосновавшись в чужой стране, не понимаю: то ли наши мысли о лучшей жизни в стране родной были неправильные, то ли нашим мыслям и действиям не хватило поддержки других, тех, кто хотел улучшить жизнь лично свою, своих детей, не принимая во внимание всю страну целиком...

3.

Квартира над «Ашханой» была для меня не только центром Черниковки, рядом с видимым жилым центром этого заводского уфимского района – восьмиэтажкой, сколько центром живого, неофициального, современного искусства, можно сказать – культурного фрондерства...

Нет, не так!

Там и было искусство вообще, без разделения – в книгах, альбомах и пластинках, в вольных разговорах и внимательных глазах. Графика самого Домжина, акварели и холсты его друзей, маленькая книжечка о Пикассо, большой альбом Ренуара, пластинка Армстронга. Да, многое не наше, западное, но по контрасту с унылым советским радио, с картинками в «Мурзилке» или «Огоньке» оно и высилось желанной вершиной, близкой к тому, о чем я чуть позже читал у Эренбурга. Художник Валя Домжин и его жена, которую все называли Машенька, как-то так повлияли на остальных окружающих меня взрослых, что и те становились интересными.

Может быть, становились самими собой, чего я не мог видеть в обыденной жизни. Когда они всей компанией появлялись у нас, тот же Валя и в нашей маленькой коммуналке оживлял общество, его буги-вуги не были стилиажными, а были именно стильными – спортивными, эротичными (как я теперь понимаю). Хотя, по правде сказать, проходя мимо стенда «Не проходите мимо!», где были изображены танцующие юнцы, я все-таки боялся увидеть его фамилию. Недаром же сосед, отставной сержант, живший в третьей комнате нашей квартиры, как-то выскочил в коридорчик и закричал, что он сейчас пойдет в милицию доложить о джазовом разврате, гремевшем в наших комнатах. Его баян на нашей общей кухне казался ему вершиной музыки, также как не мог он понять, почему отец всегда его обыгрывает в шахматы. У себя-то в деревне он был лучшим шахматистом! Скорее всего, я не понимал и десятой доли происходившего, смысла разговоров и контекста их, запоминал только яркие этикетки.

Вот на нашем новоселье на Кольцевой были какие-то тихие реплики, после которых молодой журналист Эдвин схватил вилку, прижал ее черенком к боку и заорал: «Валька, я тебя люблю, Валька, я тебя убью!» Беременная Соня, финская жена армянского бузотера Эдвина тихо испарилась, остальные звезды башкирской журналистики бросились крутить Эдика и Валу. Кажется, Валя, успевавший и в боксе, успел дать крикуну в глаз, вилку отняли из обмякшей руки, а сын Эдвина, будущий светоч башкирской филологии Роман ходил между всеми и пытался примирить.

В связи с данным интернационализмом должен сказать, что никогда не задумывался, был ли Валентин Яковлевич Домжин евреем, *ex post*, как говорила при детях мама. Может быть, потому что и сам я не слишком старался выпячивать свое происхождение, даже в мыслях. В том же Бендере или Залмане интересовал не национальный характер, а просто яркий тип, которому хотелось подражать. И когда видел своего отца, человека, как и я, среднего роста, разговаривающим у нас во дворе с доктором наук Берковичем, высоченным и импозантным, думал не об их общем происхождении, а о зрительном и статусном контрасте и сожалел, что контраст не в пользу моего отца.

Однако другие национальности внутренне всегда выделял – но как бы подчеркивая, развивая, тренируя интернационализм. Гордился, что мой друг из класса Федька – на самом деле Фягим, крымский татарин. Бескорыстно ли было такое примыкание к любым меньшинствам, «нашим-ненашим»? Не было ли здесь мимикрии, отдаления от сознаваемого антисемитизма,

возможная жестокость которого накладывалась на подкожный страх? Помню книгу, найденную мною у бабушки, о восстании в Минском гетто. Книгу, изданную в конце войны, кажется, потом запретили, так что она не стояла на полке вместе со всеми, но я откопал, поощряемый дедом. И примерял судьбы ее героев к себе, как позже формулу Тувима: «Я поляк по крови, которая во мне течет, и еврей по крови, которая вытекает». Так же и я русский в любой стране, где бы ни жил, поскольку живу в русском языке, и еврей – как только чувствую дискриминацию. (Нет, не в своих неприятностях, здесь я спокоен заранее.) Скорее всего, такая раздвоенность потому, что я внерелигиозен. Однако еврейский способ мышления чувствую быстро – что при личном общении, что в письменной речи...

В скудной событиями и впечатлениями детской жизни любая мелочь запоминалась надолго. Овальная, как у Нефертити (с ее изображением познакомился потом) головка сына Эдвина, которого дали подержать на руках – первый младенец, доверенный мне. Демонстрация на Первомайской с трибунами у дворца Орджоникидзе, все знакомые при параде, некоторые с орденами – фронтовики. Конечно, самое вычурное здание на той же Первомайской – кинотеатр «Победа». Только недавно смог как-то образно собрать эти картинки, вот что получилось.

Детство. Оттепель

Кинотеатры «Победа» и «Родина» —
Пирровы храмы несътой страны,
жёлтые портики над сугробами
искусством приподняты и обнажены.

Гордость и радость, пароли и отзывы,
ключики детских и взрослых сердец.
Манна небесная! Оптикой розовой
серые тени влекут во дворец.

Серого хлеба горохово крошево —
трофеи доверчивых фронтовиков.
В слове «победа» так много хорошего,
взглянем на родину из-под очков.

Прячась за слово, ампиры амбарные
веру и душу делят, как хлеб.
Заняты храмы музой кустарною
и наделяют единством судеб.

Конечно, в свои раннеподростковые годы, идя по Первомайской к книжным шкафам Домжина, ни о чем таком серьезно я не думал. Может быть, напевал про себя, а то и шепотом, если никого рядом не было, песенку из фильма «Друг мой, Колька»: «Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше, только утро замаячит у ворот...» Дело было не только в явной революционности барабанщика из песни Окуджавы, имени которого я не знал (перекличка с 20-ми годами, с песней об отряде «спартаковцев – смелых бойцов»), даже не в ритме, под который было легко идти – а в атмосфере, как бы учнее сказать, нонконформизма. Антибуржуазный, антибюрократический пафос свободы – и в песне из 20-х, и в песне из 60-х. Стилистическая разница между Окуджавой и другими песнями из радио и кино была заметна даже

на мой ребячий слух. Лексикон другой, не такой сладкий, призыв к действию, важному для тебя, а не для «пославших меня».

Вчера мы вспомнили эту песню, Люба сказала про все наши маленькие шажки к свободе, про внезапно открывавшиеся окошки: так не бывает, чтобы все сразу, в большинстве своем, захотели жить по-другому, должна накопиться какая-то критическая масса впечатлений, понятий, решений – нет, так нельзя! Как микродозы препаратов лечат, накопившись, болезнь. И скромное фрондерство разрешенного Окуджавы, например, значило не меньше запрещенного Галича или до-тоталитарных писателей и мыслителей.

Чего же я искал в тех дяди-Валиных шкафах? Приключений! Само это слово вошло в меня от названия книжной серии, после чего никак я не мог воспринимать расхожее осуждение «искать приключений на...» – а дальше уже в рамках применяемого обычно лексикона. На свою голову, например. Чем у тебя голова забита... Капитаном Сорви-головой, капитаном Бладом, копиями царя Соломона. Огромного Монте-Кристо прочитал еще дома, когда врачи месяцами не разрешали вставать, а вот потом хотелось чего-нибудь более динамичного – и наткнулся на полки у Домжиных.

Моря, теплые и холодные. Расширение сознания! Хотел быть именно моряком, а не летчиком – как все остальные сверстники в эпоху до и во время Гагарина, хотел из-за аргонатов, из-за пиратов, но и Ефремов поддержал. Его египетские моряки, посланные фараоном в «загробный мир», были тоже аргонатами, только пораньше, когда и герои «Глиняных книг» отчитывались перед владыками о своих плаваниях. Тут ведь вопрос стоял не столько о расширении, освоении территории, то есть – державной мощи, царского величия, Ассаргадоновой гордыни, сколько о налаживании равноправных связей с неведомыми прежде людьми, о торговле. О двигателе прогресса.

Хотя о какой торговле могли думать предки австралийских аборигенов, когда шестьдесят тысяч лет назад пускались на неведомых нам суденышках через стокилометровый пролив от своих островов на невидимый оттуда материк? Это освоение похоже на жертвоприношение – во имя идеи освоения человеком Земли. «Плывать по морям необходимо» – эта формула, говорят, от римлянина Помпея: «Плывать (странствовать) по морю необходимо...» Цитирую: «Поднялась буря, и кормчие не решались отплыть; «тогда Помпей первым взошел на борт корабля и, приказав отдать якорь, вскричал: «Плыть необходимо, а жить – нет!» Наверное, это же чувствовала в те мои годы девочка постарше – Новелла Матвеева, когда писала: «Я мечтала о морях и кораллах...»

Говорили фараону: направь ресурсы на строительство пирамиды, а он послал своего вельможу с отрядом и припасами в неведомые дали. Вот и получил по башке от сторонников стабильного развития пирамид... Я только сейчас понял, какой смелости был не очень словесно богатый писатель Ефремов, когда сразу после смерти Сталина написал «На краю Ойкумены». Книга призывала открываться миру, не считать свои обычаи и порядки единственно возможными, говорила, как красива может быть неизвестность.

Наверно, с его страниц я запомнил очарование коралловых рифов, а потом и сам, скользя между ними в Красном ли море, в Тихом ли океане, ощущал невыразимое родство с большим и теплым морем. Такое же, какое ощутил, сев на верблюда в Сахаре.

Риф

Золотая и синяя мелочь
над коралловым лоном парит
и Даная открыто и смело
отрицает сестер-Данаид.

Кто кого пожирает и любит?
Под прозрачной морской волной
то ли груди, а то ли глуби
соблазняют своей полнотой.

Рыба-лоцман уводит за камень,
где, коралловой веткой хрустя,
открывается пред рыбаками
чудо-рыба в кисейных кистях.

Кто кого наблюдает и ловит?
Плавниками едва семеня,
моей древней сгустившейся кровью
море Красное держит меня.

Свобода путей, выбора, мыслей – не самый революционный писатель Ефремов осознавал ее необходимость. То есть не отрекался от марксистской формулы: «Свобода – это осознанная необходимость», – ведь вся оттепель была марксистско-ленинской. Но стоило произнести, хотя бы в уме, слово «свобода» – и уже его не остановишь на предписанных рубежах. И вслед за «Кон-Тики», за Ганзелкой и Зикмундом потянет оно тебя в дальние страны и галактики.

4.

– В девятом, наверное, классе мы баловались: парень попросил написать на бумажке, чтобы никто не видел, свое главное желание. Я написала: «Жить и умереть под Парижем».

– Это у тебя от Маяковского было?

– Ну не знаю, отчего! Просто вырвалось.

Полвека прошло. Лёля Домжина тридцать из них живет в Париже, не где-то «под», а в самом центре, рядом с Лувром, через мост от Нотр-Дам. Позвала нас в гости, прилетели.

– Лёль, а это не было прорвавшейся реакцией на детские впечатления – от очередей, от макарон по записи, от талонов на сахар?

– Ну нет, детство было замечательным! Помню, приходили к вам, сидим за столом с Ленкой, кашу мучаем, а дядя Давид заходит и спрашивает: «Как дела, Ёлка!» – а потом видит меня и тоже ласково: «А у тебя, Березовый Листок?» Я же беленькая была, а Ленка – чернушная! Именно Березовый Листок, не береза, это было бы слишком просто. Когда мне сейчас бывает особенно плохо, я вспоминаю «Березовый Листок»... Какие жуткие, говоришь, очереди? Мы когда из Будапешта вернулись, уже никаких очередей не было. Как раз весь тот кризис пробыли в Венгрии.

– Потом, когда Хруща сняли, сразу все появилось, на короткое время. Но, правда, без разносолов, колбасу нормальную надо было доставать. Однако, помню, Левка Шерстенников уже знаменитым фоторепортером «Огонька» приезжал к отцу-профессору и, возвращаясь в Москву, набрал «московской варено-копченой». Ты чего, спрашиваю, мы-то из Москвы все везем? А Лева улыбается: «В Москве такой нет! Только на уфимском мясокомбинате по правилам делают». Недолго длились эти правила, лет пять-семь...

– Ладно, развспоминался... Скажи лучше, у тебя руки сильные? Покажи.

– Ну... в общем, да...

– Вот так вот ножом сможешь сделать? – и Лёля достает из кухонного ящика коротенький ножичек с крупным эфесом и показывает им короткое ковыряющее движение.

– Наверно смогу...

– Тогда ты будешь открывать устриц, а то мне тяжело. Тут надо попасть в определенное место острием лезвия, повернуть так, но главное – не раскрошить раковину...

– Не получается что-то у меня с этими устрицами, боюсь, осколки внутрь набьются.

– Придется идти к тому парню, у которого Люба их покупала, доплатим – пусть раскроет.

Они пошли, а я рассматриваю полки над телевизионной нишей. Одна – сплошь «Библиотека приключений».

Вернулись, вкусно, Лёля учит, как и с чем правильно есть устриц, чем запивать. С прошлого раза, когда у нее гостили, почти двадцать лет прошло, навык пропал. Тогда как раз майский парад был по случаю победной даты, Ширак принимал, ехал в лимузине по Елисейским полям, а мы на крыше метро стояли, рядом с «Лидо». Так этот женолюбивый француз чуть шею не вывернул, рассматривая Лёлю с Любой. Беленькую и черненькую...

– Лёля, а ты что, из Уфы эти книжки привезла?

– Нет, здесь собрала, понемножку.

– Ефремов есть?

– Почти с краю, рядом с «Копями».

– Надо перечитать. А знаешь, я когда его у вас брал, из шкафа на Ульяновых, мне открыла дверь Лида в комбинации, а за ней стоял Леня Залман.

– Да, Лидка не скрывала, что у них роман. А потом она его отшила.

– Сама?

– Ну да, пошли в те скучные времена в самый лучший ресторан, смотрит – а Леня договаривается с администратором, что достанет им ящик «чернослива в шоколаде» – помнишь такие конфеты? Вот Лида и бортанула – не любила она шахер-махер.

– Это ее версия. Думаю, все-таки, что искал он другую жену...

– А где он сейчас?

– Кажется, в Чикаго, я давно не контактировал.

– В Чика-а-го? Смешно! Помню, Лидка на семейном обеде, когда дед попросил ее чего-то принести из подпола, обернулась и так пропела почти: «Здесь тебе не Чикаго!» Откуда это у нее взялось, ни раньше, ни потом не было?

– Думаю, от Лени: «Ты не в Чикаго, моя дорогая!»... А вот эту дяди-Валину графику я помню. Она, кажется, у нас дома висела?

– А потом отец ее у вас забрал! Говорит, тут вся семья в сборе, такая картинка дома должна быть.

– Да, его с тетей Машей я вижу, ты впереди, идете по набережной, видимо. Дунай? Это же Будапешт? А что за малыш за руку держится? Наташки же еще не было, она ведь только родилась, когда вы уже уезжали домой, помню, на вокзале ее в корзинке из вагона принимал, мне доверили...

– В том-то и дело! Ее еще и в проекте не было, а папа уже нарисовал. Он вообще был неординарный человек. Знаешь, он ведь турниры в настольный теннис выигрывал, уже взрослый был, как-то призовой сервиз принес.

– А наш папа – серебрянный подстаканник за шашки, в них он играл успешнее, чем в настольный теннис... Пинг-понг, говоришь? А-а, так вот кто меня учил, я же совсем по-другому, чем папа, ракетку держал. Не мог недавно вспомнить, откуда у меня была такая странная гнутая ракетка, которой я потом в редакции всех обыгрывал. В Союзе таких не бывало, это дядя Валя из Венгрии мог привезти.

Такие разговоры шли две недели в маленькой квартирке в доме, в котором подвал построили в одиннадцатом веке, а Лёлин угол – лет через семьсот-восемьсот. Разговоры о разных временах и разных краях Ойкумены, нашей Ойкумены, нашего с Лёлей жилого пространства. Но у каждого образовалось и свое, Лёля показывала нам с Любой свой Париж. Мы-то Парижи

с Римами изучали по «Монте-Кристо» и прочим источникам, а Лёля в основном пешочком, много лет работая искусствоведом и гидом. Она и стала по эмоциям, по мимике, по интересам почти француженкой, оставаясь – уже по модели поведения своих туристов – славянкой.

Вот здесь, говорит, жил Мишель Нострадамус, здесь – королева Марго, Рабле, Диана де Пуатье, эту стену заложил король Генрих, один из первых Генрихов, уезжая – ну, то есть на коне – в крестовый поход. Вернулся и достроил. И все это – в шаговой доступности от маленькой квартирки, где стояла рядком «Библиотека приключений».

А еще мы с ней или по ее подсказке ходили по музеям, часов по шесть в каждом. Вернулись с выставки Леонардо, смотрю на фото Валентина Яковлевича Домжина, стоящее на крышке отреставрированного старинного комода, и вспоминаю увиденные только что полотна. Нет, не в смысле «тоже художник», зачем меряться, а в смысле психофизиологии, одной из пружинок своеобразия.

– Лёль, смотри, а у дяди Вали тоже были разные глаза! Ты знаешь, почему почти нет изображений Леонардо анфас, только в профиль? Потому что он был слегка косоглаз, асимметричен. И на его выставке есть два сильнейших портрета евангельских персонажей: Спаситель и Иоанн Креститель – оба слегка, но заметно косят! Может, это только я обращаю внимание, потому что сам такой...

А еще после музеев вспомнил, как интерес к женскому телу пробудила во мне папка репродукций картин Дрезденской галереи. Рассматривал у бабушки с бабушкой в их восьмиметровой каморке-пенале, а потом дед подарил эту папку нам. Но без «Венеры» Джорджоне... И я долгое время думал, зная облик по классическим картинам, что женщины именно такие, поэтому и попал в неловкую ситуацию, которую разгадал только недавно.

Обсуждали тогда дома какой-то советский криминальный фильм, говорю: так ее ж ножом ударили, помнишь, мама, переворачивают труп – а там на груди кровавое пятно? Нет там никакого пятна, говорит мама и как-то кривит губы, отравили ее. Ну как же, хвастаюсь я своей наблюдательностью, такое круглое пятно на груди!.. Разговор замяли, а речь-то шла о нежной коже вокруг соска, которую художники чаще всего целомудренно не обозначали. Так вот, книжный юноша: Апулей и Тициан не могут заменить живой практики!..

– А ты знаешь, что Жанна д'Арк была не вполне женщина – и в этом все дело?

– Брось, Лёля, так ли важно, если она была, допустим, лесбиянкой или даже гермафродитом – что это меняет в истории?

– Ну, если коротко говорить, а есть целая разработанная теория с кучей доказательств, то была она как бы сводной сестрой короля – и поэтому, после долгого разговора наедине, он поставил ее во главе армии.

– То есть она была незаконнорожденной дочкой короля предыдущего?

– Интересней. Король был Карл VI, а она была дочкой королевы Изабеллы Баварской, знаменитой своим распутством, от брата короля, герцога Людовика Орлеанского. В истории полно свидетельств их связи, кстати, полусумасшедший Карл не слишком возмущался и редко посягал на супругу.

– И какое же отношение к этому имеет ее женское естество?

– А помнишь у Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей»? Лишены они были одной маленькой, но главной женской детали... Так вот, мне знакомая врачиха рассказывала, что есть такая редкая болезнь. Поэтому рассказы про ночлеги главнокомандующей такие странные – спала она вместе с подчиненными.

– Допустим, это значит не о ней Остап вспоминал романс «У моей девочки есть одна маленькая штучка», но к истории-то эти милые подробности зачем?

– Очень просто: Изабелла, которой уже приходилось терять детей, узнав от повитух об особенностях новорожденной, велела отдать ее кому-нибудь. Отдали простым крестьянам,

вроде бы, которые вдруг быстро разбогатели и получили аристократическую приставку к фамилии.

– Ну да, д`Арк – это же как д`Артаньян. Мол, хозяин какого-то имения... Да, получается, следующий Карл предал не просто своего освободителя, а сестру...

– Схватился он за нее, используя предсказание, что Францию спасет девственница. А тут сомневаться не приходилось.

Лёля с жаром приводит подробности этой версии, но мне уже все равно: воинской мудрости и нестигаемой смелости Жанны все это не отменяет, не зря ее признали святой. Францию-то она спасла. Как говорится, провидение выбирает свои орудия по неведомым нам законам. Но история – замечательная, можно вспомнить о книжной серии и добавить в «Библиотеку приключений», тем более – по нынешним сексуально-озабоченным временам в ней такой яркий манок.

– Ты знаешь, что-то произошло со временем, я замечаю. Оно как-то быстрее летит.

– Это просто мы стареем, в нас, так сказать, процессы замедляются.

– Нет, у меня есть четкий критерий. Раньше, когда я возила группу по Нормандии, мне в отведенное время приходилось вспоминать неважные детали, чтобы заполнить срок экскурсии. А теперь не успеваю изложить основную канву! Говорю же я давно сложенную, скомпонованную лекцию, теперь вот вынуждена сокращаться...

5.

Разговаривали с Лёлей по скайпу 14 марта, мол, как там в Париже с вирусом? Ха-ха, хихи. А 29-го позвонил из Уфы в Болгарию, в село Плоски, где мы живем, наш общий приятель Юра: лежит Лёля неподвижно, диагноз подтвержден, говорить не может. Написала только: всегда мечтала не выходить из квартиры. Да, это мы поняли, она ее выстилала своим отношением, как птица гнездо своим пухом. Потом и от нее получили подтверждение, не меняю лихорадочной пунктуации:

«Да, мои хорошие, это так.

Пошла уже 3-я неделя...

Сил, чтобы описать все – нет...

Но, если доведется, – поплачем вместе от моих рассказов!

Мы-полностью брошены, на нас ПОЛОЖИЛИ крест (с прицепом)

Кто выживет – ок!

Кто нет – ну, тогда НЕТ!

ВСЕ запрятались по щелям, никакие службы, телефоны не отвечают!!!

Лечимся Парацетамолом... других средств НЕТ!

Мерии, госпиталя, sos, волонтеры – все это только на экране Телявидения, я лично никого не видела и не слышала... Даже по телефону никто не позвонит, чтобы узнать – пациент скорее жив, чем мертв, или.....????

Вывозят, скорее всего, по запаху.....!!!

Никакая статистика НЕ ВЕДЕТСЯ!!!!

Т.Е. когда они говорят, что заболели еще 200 человек – то это туфта!!!!

Никакого учета, контроля, подсчета.....

Никому не ставят ОФИЦИАЛЬНО диагноз, т.к. они никому не делают ТЕСТОВ!!!!!!»

Теперь вроде пошла на поправку. Не кончились наши приключения, такое получилось благополучное послевоенное поколение. Да уже и постсоветское. Между мировой войной, «концом истории», глобализацией, сменой мифов и святых и пандемией.

Лёлина Ойкумена: Венгрия в детстве, через шесть лет после кровавого умиротворения, принявшая новую власть и новых оккупантов, но не озлобившаяся на все русское – Магда из

Будапешта еще долгие годы приезжала в гости к Домжиным в Уфу. А Лёля в этой Уфе, зажатой в центре огромной страны, нашла себе француза, приехавшего строить завод коммутационной аппаратуры.

Он выполнил главное задание своей жизни – увез ее в Париж. И Париж стал ее городом, где она знает каждую улочку и каждый собор и делится этим с соотечественниками, не забывая показать Сен-Женевьев-де-Буа, кладбище, где лежат не только белые офицеры и приёмный сын Горького, соратник де Голля Зиновий Пешков, но и определившие во многом культуру нашего поколения Андрей Тарковский, Рудольф Нуриев, Андрей Амальрик...

Маленький домик с маленьким садом на берегу Средиземного моря в Тунисе, где она отдыхает от больших городов, на границе стихий – пустыни и соленой воды. Посланцы ефремовского фараона туда не ходили.

Подводные крылья

- Весело погуляли мужики!
- Это ж надо так напиться – на речке мель не заметить, да тут прямо перекат.
- А ночью не видно.
- Ночью-то зачем на «Волге» шуровать?
- Обнаглели, холоуи, хозяйского захотелось.

Что толку теперь обсуждать, раз припрягли. С другой стороны, надо же о чем-то говорить, стоя второй час по колено в утренней быстрине, когда уже через десять минут хочется быстро вылезти на зеленый припек луга. А не уйти, пока не вытащишь этот скоростной катер, который зарыл в полугальку, полупесок свои раскоряченные подводные крылья. На брюхо сел, как самолет при вынужденной посадке.

Завхоз, два физкультурника и библиотекарь – вся рабочая сила пионерлагеря. Самое смешное – библиотекарь, ну почему? У завхоза, ясно, рыльце в пушку, это его дружки с турбазы – скорее всего с ним вместе – резвились, а теперь марафет наводят, можно представить, что на базе-то творится. Физкультурникам – лишний тренинг. Вожатые, понятно, за детишками смотрят, у них сейчас, после завтрака, всякие занятия. Но какой толк от худого шестнадцатилетнего тела? Даже навалиться на левый край катера, чтобы правый задрался, веса не хватает. Нет веса в коллективе... Вот и послали, вместе с прочей обслугой.

– Давай, давай, скоро трестовское начальство приедет на турбазу, а «Волги»-то нет. Шуму будет!

Начальство... Исаак Львович и впрямь грозен. Только мельком глянул, когда отец представил, и ничего не сказал, решения пришлось ждать за дверью. Отец вышел из кабинета и сообщил – будешь библиотекарем, даже зарплату обещали. Его радость понятна: плевать, в общем-то, на зарплату, это для пацана тридцать рублей – деньги, главное – под присмотром, пока они с матерью на Пицунде.

Кабинет у Сапсана – знатный. Весь в кубках и вымпелах – трестовские мотогогонщики наездили. То-то у него такая хищная фамилия. Еврей, а вроде власть. В городе, где полно осталось эвакуированных и присланных поднимать нефтяную целину, любые фамилии встречается, но Сапсан, по крайней мере для мужской половины, выделяется. Когда над ледовой дорожкой разносится: «Судья всесоюзной категории Исаак Львович Сапсан!» – становится ясно, что судья своих в обиду не даст. Он для местных свой, даже сына женил на дочери главного поэта. Сила, не стесняющаяся себя...

Сильное течение намывает, кажется, еще больше песка, чем успели выгрести из-под катера. А главное непонятно, как вытаскивать крылья – их концы, как ласты враслопырку. Подводные, их не видно, пока катер медленно идет, на скорости они поднимаются, как перископ, только направленный сверху вниз. Сейчас перепончатые крылья похожи на лыжи, зарывшиеся в сугроб, когда еще ноги случайно скрестил. Откапывать без толку – снова заносит. Столько мата и пацаны во дворе не знают! На хрена этим людям книжки? Интересно, что бы они стали читать на самом деле. Наверное, даже не Гайдара. Хотя и пионеры не сильно рвутся.

Ренат копает, как заведенный. Непохоже, что выпендривается, просто хочет закончить пораньше. К нему же Галка опять приезжает. Черт, как они по-взрослому целуются! В прошлый раз просили посторожить – и в кусты... Да с нашим уважением, не сочту за труд, и сам бы рад так же вот с Таней, когда приедет, только она считает, что нам еще рано. Но с чего Ренат решил, что может просить бумажечку в сортир принести? Помочь – пожалуйста, а услужить – как-то неправильно, хотя парень негрубый, пусть и атлет. Может, не понимает разницу между дружескими отношениями и «подай-принеси»?

А может, наоборот, пацану непонятна разница между словами и намерениями. В тюрьме, скажем, опытные зэки сбивают с «пути исправления» новичков словами о верности и дружбе. Да что тюрьма – в школе не так, что ли? Или в армии... Ради пустяка, минутной приятности готовы унижить. Само унижение сладко – посмеяться над дурачком. Смешную байку рассказали: парень насмотрелся ковбойских фильмов, как там лихо у стойки бара герой открывает ногтем большого пальца пивную бутылку. Стал тренироваться, набил толстенную мозоль на большом пальце, через несколько месяцев научился открывать «жигулевское» одним движением. А не знает, что на съемках пробки-то чуть держатся! Вообще пацаны путают картинки и реалии и набивают мозоли. Ладно, если только на конечностях...

Сверху припекает, ноги дубеют. Скоро полдень, а «Волга» ни с места. Хорошо, что успели за две недели загореть, иначе спины бы облезли. А ноги отвалились... За две недели и пейзаж надоел, кажется не привольнее городского парка. Но сейчас, под прямыми лучами, пыль на березках и осинках не заметна, зато струи на перекате... переливаются радугами. Здесь, в Каршадах, Караидель чистая, не то что в городе. По журналу «Юность» судя, по повестям Кузнецова и Гладилина, и люди должны быть проще, на виду, все время рядом – прозрачнее, а не понять. Добрый или равнодушный тот же Ренат? Наверно, у взрослых так везде. Каждый в свою сторону тянет, под себя гребет.

– Эй, куда давишь! Смотреть надо!

Скорее всего то, что в своей стихии – летит, в чужой всегда вязнет. Не удастся подняться над средой. Хотя это ж только называется – крылья, а на самом деле какие-то водорезы. Так ведь и у теперешних самолетов крылья не для парения, а для разрезания воздуха. Для парения – это у сокола. Сапсана. Интересно, как Исаак Львович приспособил свои мотоциклетные крылья к номенклатурной среде? Или они ему специально нужны, чтобы в ней занять безопасное место? С ними он вне конкуренции. Такими крыльями, получается, может стать что угодно, в чем ты силен. Лишь бы другим это было заметно. А если ты стихи, допустим, любишь, кому понятно, что они – сила?

– Чего застыл? О девчонках задумался? Не убегут...

«Ты в бронзовом шлеме из тонких волос, в кольчуге из ласковой кожи...» Ч-черт, появилась у Таньки привычка глаза красить! Зачем, для кого? И так хороши, а кому не хороши – какое дело до них? А для кого девчонки из старшего отряда мажутся? Там пацанов-то стоящих не видать. Еще эта дура из столовой приходит, спрашивает, советуется «чисто по-дружески», явно имея виды на Рената: «Скажи, я симпатная?» Компотная! Да просто потная! Слово какое выдумала, уродина! А может, просто язык не поворачивается, как табу добровольное, правильно сказать – слишком всерьез. А если уж так невтерпеж, поучила бы малолетку половой жизни – век был бы благодарен...

– Ну, все! Не прошло и пяти часов.

Сыпался, сыпался песок в выкопанную под крыльями яму – и вдруг не успел за полуголой бригадой. Дернули за один край, навалились на другой борт, разом толкнули – и «Волга» на плаву, заводи мотор, поехали! Это и значит – оказаться в родной стихии. Ветер в лицо – ничего не слышно. Все-таки на крыльях – это по-настоящему, ничем эту скорость не заменишь, не обманешь! Вот чем бреющий полет отличается от стригущего лишая! Как на спортивном самолете, только там через шлемофон переговариваются. А здесь так, без техники, в ухо кричат.

– Хозчасть ставит?

– Айда на дебаркадер.

Дебаркадер, оказывается, это бывший колесный пароход. На приколе. Тоже часть сапсановых угодий, как турбаза, как лагерь. Молодая картошка летит в огромный бак, открывается тушенка, срываются «бескозырки» с бутылок, режутся крупными кусками огурцы, зеленый лук с основательными белыми головками споласкивается в Караидели. И все эти завхозовские богатства оприходуют две женщины, пока мужики растирают оледеневшие ноги. Повариха и

поваренок. Поваренка зовут Надя, до этого не видно ее было, маленькая, но уже кругленькая, лет шестнадцати.

– Что значит не буду? Грейся, простудишься! Или портвейну?

«Мордвейн полтавский» еще страшнее – воняет. Может вывернуть. А так – набрать воздуха, глотнуть из эмалированной кружки, а потом уже выдохнуть. И сразу луку, полголовки откусить. Стало легко. Захотелось говорить. А разговор почему-то пошел в кубрике у поваренка Нади.

– Понимаешь, вроде и не в отряде, вроде не должен строем ходить, а смотреть на все эти построения и речевки – сил нет. Бессмыслица какая-то.

Надина шефша осталась в камбузе готовить обед для начальства, не будут же они картошку с тушенкой есть. А Надю гуманно отпустила. Та молчит, в темноте кубрика непонятно, куда смотрит и как. Надо, наверное, погладить. На Таню не похоже. Не отстраняется. А дальше что? Койка в кубрике узкая, да уже и не важно, важно – зачем? Кто она? На разговоры не ведется, не читать же стихи! Зачем ей все это? Зачем, зачем... за шкафом! Мягкая, упругая, как колобок. Булочка. Съешь меня!

Ленивый плеск волны, дебаркадер в затишке у берега, солнце рисует крест на иллюминаторе. Нет, дальше нельзя, не трогай юбку, хотя Надя не протестует. Не заменишь лицо, себя обманешь, крылышки свои же помнешь! Нельзя и все. Хорошая девчонка, дай бог ей мужа хорошего, как отец говорит. Чужое, ты не должен, тебе не должны. Да, конечно, вроде как рассчитался за две недели кормежки пятью часами на перекате – и чеши отсюда. Забудь про зарплату, про линейку, горн и барабан, про пустую библиотеку. Не трогай здесь больше ничего!

– Ты прости, мне пора. Я в город собрался.

Крепкая мужская спина

Вот ее-то как раз Нина и не нашла, хотя и очень хотела. Своя у нее была круглая, плечи – покатые, ну чистая Модильяни. В компании интеллигентов, отделенных от столицы почти двумя тысячами километров, все понимали разницу между здешним Модей (как называли местного художника по фамилии Моджин) и парижским, с чьими фигурами было достойно сравнивать милых дам. Хотя полнокровный и нервный Валя Моджин-то и был главным пропагандистом непривычного, не соцреалистического искусства – от джаза до живописи, от буги-вуги до абстракционизма. Модя тоже понимал в женской красоте и сделал, например, лучшую фотографию моей матери – с романтическим взглядом куда-то вверх и почти модильяниевской шеей.

Мама и ввела случайно встреченную соседку-библиотекаршу в круг местной интеллигенции. И в наш семейный круг. Нина без отца воспитывала сына Мишу после загадочного (по крайней мере, для меня-подростка) пребывания в Москве, семейные дела частично переложила на своих стариков, поэтому хватало времени и на меня. Она играла на пианино, говорила о хороших, по моему мнению, книгах и воспринималась передаточным звеном между проходящим перед глазами миром взрослых и моим – тревожным, будущее-настоящим. Потому что хотя и была ненамного младше моей мамы, но из другого поколения, помнившего войну смутно, и больше озабоченная внесемейными переживаниями.

А потрясение было неожиданным и ярким. День рождения Нины у нее в однокомнатной квартире на втором этаже хрущобы. Звонок в дверь, я сижу ближе нее и мамы к выходу, бегу открывать. От загорелого, высокого, очень красивого мужчины с букетом в руках, кажется, идет морозный пар, почти ореол получается. Здесь таких не водится! «Нина здесь живет?» Она вылетает в тесную, размером со стенной шкаф, прихожую, выталкивает меня в комнату и закрывает дверь за мной. И тут я соображаю, что этот полубог – тот самый невероятный, ни на кого не похожий персонаж с полуприспущенными, как паруса, древнеегипетскими, что ли, верхними веками, который завораживал своим острым и надменным злым лицом в цветном фантастическом фильме. И через некоторое время понимаю, на кого похож и почему так назван маленький Мишка, сын Нины.

Расшифровку того, что предшествовало потрясению, представляю (вам и себе) пунктирно. Культурная девочка из провинции не поступила в театральный, зато попала в «кулек» на вечерний и стала секретаршей в театре. Ей и довелось в межсезонье принимать документы начинающего актера, окончившего недоступный для нее институт и взятого в труппу на низшую ставку. Правда, как вскоре выяснилось – на главную роль. Так сказать, первая в театре оценила, если не считать главного режиссера, увидевшего в нем Гамлета. А потом он перешел в самую громкую труппу (из театра Маяковского на площадь Маяковского), где оказался среди равных звезд, а она родила, заболела и вернулась к родителям. Его сильная спина мелькнула в дверях дома (в комнате он так и не появился), в далеком ему снежном городе, куда он на пару дней прибыл с гастролями, и больше он не приезжал. По крайней мере, при ее короткой жизни.

Второй ее звездный час я увидел уже летом, на следующий год после снятия Хрущева, в самый разгар косыгинских обещаний и наших надежд. В город приехал их провозвестник, один из энтузиастов «социализма со здравым экономическим смыслом» (про человеческое лицо в нашей стране не вспоминали) и вообще – лучший очеркист еще аджубеевских времен. Приехал писать о хозрасчете на нефтезаводе. Папа заманил его к нам домой. Мы к тому времени уже переехали ближе к центру в отдельную квартиру, так что Нине, приглашенной на прием, пришлось часа полтора добираться из нашего бывшего общего рабочего района. Путешествие окупилось сторицей.

Звездный очеркист рассказывал очень смешные анекдоты, лихо пил, не пьянея, и пел под гитару замечательные песни. «А как у вас дела, дела насчет картошки? – Насчет картошки? – Насчет карто-ошки! – Она у нас становится на ножки! – Я очень счастлив и рад за вас!» Это напоминало недавние рапорты в ЦК об успешном внедрении кукурузы. А вот лучшую песню я не запомнил, потом она прозвучала в первом советском анчаровском сериале, но в ней не было того куплета про дождь на линии фронта, который ударил сильнее всего, было только «между пальцами года просочились, вот беда, между пальцами вода кап-кап...»

Очеркист, как и Анчаров, был фронтовиком, воевал штурманом на бомбардировщике, и это добавляло очарования. Нина не отставала, была в ударе – черный глаз вспыхивал синевой, черная бровь изгибалась, гитарная талия звенела, а плечи просили поддержки. Она уехала с ним. Как я сейчас понимаю, в гостиницу.

То ли амурная прыть московского покроя подстегнула опасения провинциальных жен, то ли просто постаревшая компания стала разбредаться, то ли сказался переезд в другую часть города – не знаю, может и все вместе. Только Нину я все реже видел у нас дома. А сам искренно гордился знакомством с таким ярким человеком, впрочем, как и с остальными людьми из компании родителей. И вообще как-то с тех пор повелось, что однажды с кем-нибудь подружившись, я потом всех новых знакомцев стараюсь сблизить с прежними друзьями.

Поэтому ничего удивительного не было в том, что оказавшись с моим старшим приятелем Олегом в Черниковке, том самом заводском районе города, я потащил его в гости к Нине Яковлевне (не тетя Нина уже ж!). Мне было приятно, что Олег, такой видный парень, нравится хозяйке, что ей интересно с нами разговаривать, что она смеется моим шуткам и как со взрослыми обсуждает воспитание своего подросткового Мишки. Кажется, это был ее день рождения, как когда-то, только мороз не был таким сильным, как в год приезда московского гостя. Все-таки весна, 8 марта, пусть и на Урале. Но гостей, кроме нас, не было.

Поставила цветы в синюю вазочку, накормила принесенным нами тортом – мы тогда уже немного зарабатывали, я заметками на школьную тему, Олег – помогая матери-уборщице, так что рубли на подарок нашлись. В тесной прихожей, пока Олег, как всегда, любовался собой в зеркале, Нина Яковлевна, провожая, погладила меня по спине: «Молодец, растешь! Мужичок. У мужчины должна быть крепкая спина». Почему-то я запомнил слова, будто получил наказ на будущее от понимающего человека.

А у нее будущее оказалось не очень. Кого она могла видеть в Черниковке, после того как распалась, разъехалась компания? Мужчину по себе она могла найти только среди гуманитариев, а таких там случайно вряд ли встретишь, тем более – активных и свободных. Им среда нужна. Но даже в кино или на редком концерте, до которого приходится часа два пилить и потом спешить домой, в определенном возрасте уже не познакомишься. Чего ждать, если жизнь и то, к чему предназначен, тащат в противоположные стороны? Называется – шизофрения.

С этим диагнозом она и попадала регулярно в больницу на Владивостокской (какое остранинное название для уральской улицы. Куда Макар телят не гонял...) К лету выходила, а осенняя слякоть гнала ее обратно. И сын стал все страннее выглядеть, и Нинина мама с чудесной фамилией Чириковер все откровеннее махала рукой на вопросы о здоровье дочери. Она тоже жила без мужа, но он хоть был рядом, в том же городе, он хоть был когда-то и от этого не отказывался.

Когда я вернулся после пары московских лет, Нину Яковлевну было трудно узнать. В оборванной шубе, с плохими зубами, она говорила что-то ужасное и невнятное. Что-то ужасно невнятное и непонятно ужасное. Вслушиваться не хотелось, будто она раздевалась передо мной. И не хотелось видеть в ней тоскующий женский организм, теряющий связь с головой, или напротив, диктующий голове неподобающие слова и требующий у нее для себя неподобающего поведения. Главный ужас: она почуяла, что мужичок вырос...

Четко и резко, умно и по-прежнему наблюдательно Нина заговорила у моего рабочего стола в «Вечерке». Нет, не со мной. А с Риммой, которая тоже в поисках мужского внимания приходила в редакцию. Внимания в нужном виде и качестве Римма не получала, обижалась и злилась, поэтому частицу своего несомненного литературного таланта потратила, чтобы назвать в мою честь приبلудную собачонку – Какосик. Вот так они и столкнулись, усевшись напротив меня на двух стульях по краям стола: Нина в драной шубе и Римма с собачкой. И на меня уже не смотрели.

Никакой конкуренции, деликатное отношение к беде другого (другой!). Один взгляд – и сразу, как у фронтовиков, только им понятный разговор: в какой палате, как себя вел врач, кто не зверь из санитаров...

Потом, когда приступы проходили, она старалась не показываться на глаза знакомым, видевшим ее в неподобающем состоянии. Хотя в общих местах обитания появлялась, стала даже печататься в городской газете. В Доме печати на лестнице она и столкнулась с моей мамой. «Как здоровье Давида? – спросила она об отце. – Неважно, – по киевской привычке ответила мама (не очень, то есть, хорошо). – Как это не важно?! Очень даже важно!» Нина почти закричала, не поняв выражения, она по-прежнему была к нам равнодушна.

Знаю, что скажут про эту болезнь: гены, вот и сын у нее такой. Плюс надорванные семейные узы, пример матери. Еще и непомерные молоденькой девушке жестокости столичных нравов, где точно выживает лишь равнодушный. Вот она и заболела после банальной любовной интрижки, уехала к мамелизывать раны. Ненадолго выпрямилась, называется – ремиссия, а потом опять повредилась.

Ну да. А почему же заглянул к ней тогда ее красавец? Почему она с ним разговаривала таким независимым тоном (слов я не слышал, а интонацию запомнил)? Может, не такой уж и слабой она была? Раз почувствовала, что слишком сильно, по примеру своих страстей (и поэтому – напрасно), надеялась на крепкую мужскую спину.

Первая проза

– Лиля, – сказал я. – ...Оскарровна. Я вот рассказик написал.

– Покажи.

Лиля была молодая, строгая, но смешливая рыжая девушка после Свердловского журфака, я робел перед нею не только потому, что она была штатным сотрудником газеты, а я – внештатным, но и потому, что она могла писать хорошо и длинно. Даже очерки. А я нет. Вот и рассказик потянул строк на сорок.

Юнкор семнадцати лет от первого лица пишет, как мальчишки идут вереницей между сугробами за одноклассницами, как один из них (фамилию дал Желткевич, возможно, по ассоциации с польским командиром времен Смутного времени. Хотя по правде мальчишка был Ниткевичем) начинает подсмеиваться над героем, который толстоват и неуклюж после долгой болезни. «Толстый, жирный, поезд пассажирный!... Смотрите, как надулся, сейчас заплачет...» (обыкновенный троллинг, как бы сейчас сказали, биологическое самоутверждение, животная безыдейность). Потом претендент на альфа-самца начинает дразнить героя за то, что ему откровенно нравится девочка, идущая впереди, которая, кстати, приносила герою пару раз задания из школы. «Слабак! – примерно так говорит Желткевич, и смеется его лоснящееся лицо. – Не нравится? А ты ударь меня, жидок (в рассказике такого слова не было). Боишься? Да все вы трусы, евреи! (опять не было), что отцы, что дети!»

А было, что после слов «Все вы трусы!» герой увидел, как смеется вместе с Желткевичем Женька Клименко, с которым они делились первыми любовными переживаниями (в адрес пары девочек, идущих впереди. Женькина любовь, инициалами которой он исписывал черновики, была еврейкой). И почему-то вспомнил шершавый отцовский погон, оставшийся с войны. А также слова тех, кто считает, что такие как его отец (евреи, то есть) не были на фронте. Трусили, прятались. И герой впервые в жизни размахнулся и ударил в жирную морду Желткевича. Попал хорошо, вывернул челюсть парню (вес-то боевой накопил за время болезни), Желткевич челюсть вправил, но ударить героя не стал. Они с Женькой побежали.

Лиля Оскарровна поняла, какие слова я пропустил или изменил в тексте. Еще пару слов поправила – рассказик опубликовали. Во-первых, отца-фронтовика все в редакции хорошо знали, вступить за него, а не за мальчишеский гонор посчитали достойным поводом. Во-вторых, сама Цецилия (Лиля) Оскарровна могла побольше моего рассказать подобных случаев. В-третьих, по тексту было видно, что речь идет скорее не о национальном оскорблении, а о защите чего-то более общего и ценного.

И вот теперь я над этим думаю, хотя давно нет под рукой желтой страницы молодежной газеты (потом я мальчишескую историю несколько раз вплетал в рассуждения об антисемитизме. Но в абсолютно советской печати обошелся без них). Правильно ли я ввел цензуру над собой (поддержав цензуру печати), сокрыв некоторые подробности в прозе? Кстати, в моей первой. Лукавил ли я ради публикации или просто заранее признавал весомость принятых правил? Стоили ли этого мои прозрачные (учитывая подпись под рассказом) умолчания? Или не надо было вообще писать, а копить в себе тайную обиду? Но это как-то не совпадало с реальным повреждением челюсти...

Возможно, тогда я понял, что правду можно высказывать по-разному. Возможно, почувствовал границы компромисса. Видимо, поверил в художественную убедительность, которая вкупе с прямым ударом в рожу позволяет добиться уважения.

Кстати, не было ли каким-то самооправданием признание того, что я решил дать отпор только после клеветы на отца? Если бы не последовал без паузы прямой намек Желткевича, я бы скорее всего ограничился словесными возражениями. Промямлил бы что-нибудь о том,

что нехорошо оскорблять целую нацию. Альфа-пацан был прав в том, что я на самом деле, разнежившись над книжками за годы болезни, совершенно не горел желанием подраться, даже отстаивая свою личную честь (и не потому что боялся боли, а потому что боялся ударить). Но не скрывал ли я (от себя – в том числе) за нежеланием драться то, что стыдился (боялся?) биться за слово «еврей», однако рефлекторно почувствовал себя вправе (и обязанным!) наказывать за подлое вранье в адрес отца и его фронтовых товарищей?

А главное, я и сейчас не уверен, что национальное оскорбление – самое страшное. Ведь по крайней мере ты чувствуешь силу (массу) за спиной. Не одиночество же – ну пусть изгойство, но не по личным твоим причинам. Оскорбление может быть разной степени глубины и резкости, достойно ли в личный конфликт вносить общую память, подогревать свою решимость ссылкой на прошлую большую общую беду? Да, конечно, ты все отрочество представлял себя идущим к Бабьему Яру, где пропали мамыны одноклассницы. Не потому что были плохими или слишком хорошими ученицами, а потому что их всех (нас!) за людей не считали. И в ночных размышлениях примерял, как бы себя повел в обреченной толпе, надо ли было сопротивляться, хватило бы на это сил и воли.

Но из-за того, что не отрекался от долга крови, надо ли ее единственную считать мотором твоего поведения (особенно в минуту какой-то опасности), стоит ли заранее сливаться с массой (самых разных людей) – как бы этим предавать и ее, соглашаясь с принципом огульности, принятым самыми разными врагами человеков (ксенофобии биологической, религиозной, политической), растворяться в безымянности, в окаменелости и штампе навязанных решений. Надо же быть личностью, ответственность. Хотя бы чтобы защищать тех, кто тебе доверился.

И совсем непереносимо – унижение хорошо тебе знакомого человека, твоей опоры, ежедневного наглядного образца, сравнимого и несравненного. Который, кроме прочего, рисковал своей жизнью, в том числе – ради сопливого альфа-ничтожества, способного лишь повторять гнусности.

Вот такая получилась многозначная проза жизни – при первой попытке ее описать.

Гражданин мира

Кровати были узкие, да и между ними с трудом мог протиснуться взрослый человек, тем более – широкобедрая бабушка Сарра, а то, какие у нее бедра, Яша особенно запомнил с момента, когда она при нем за неприкрытой занавеской подмывалась в маленькой и узкой комнатухе. Где же еще ей было заниматься обязательной гигиеной, не в сенях же, которые были общими для архива областной больницы и жилища бабушки Сарры и дедушки Фимы. Яше по малости лет на все на это было наплевать, он лежал на бабушкиной, не по ее фигуре уютной кроватке и рассматривал любимый краткий справочник стран и народов. Справочник любили оба – и Яша и дед, но сейчас деда не было, и можно было прочитать про компрадорские партии Гватемалы, поддерживающие проамериканскую диктатуру, и про то, как действуют в подполье коммунисты из партии труда.

Яша лежал на бабушкиной кровати, потому что было велено днем спать. Когда его отправляли к старикам, то им давали подробную инструкцию по его содержанию. Не все пункты они могли соблюдать, обеспечивая покойное состояние ревматическому сердцу, Яша часто удирал на задворки больницы, где с радостью носился по шлаковым горам и бурьянным канавам, но заповедь дневного сна старались соблюдать: бабушка выходила из архива, укладывала внука и возвращалась на работу в соседнюю комнату.

И вот на кровать напротив, в метре от внука, взгромоздился дед. Он устал после походов по своим пенсионным друзьям, его мучили газы, распирая большой живот, он расстегнул ремень – и газы начали выходить с шумом и запахом. Яше не было дела до стариковских проблем, он был прикован строгим наказом к кровати (как дед в эти минуты – к своей, не выходить же ему в архивный придаток) и почти ненавидел деда. А дед, бессильный прервать мучительную для него процедуру, после каждого выхлопа вращал глазами и кривил губы, но ничего не говорил. Ему, конечно, было неприятно такое соседство с внуком, но он не умел обсуждать с ним бытовые проблемы, здесь специалистом была бабушка, и поэтому только кричал и старался развеять вонючее облако, размахивая газетой.

Газета была израильская. Марки, наклеенные на ленточки бандеролей, в которые почта заворачивала выписанную дедом прессу, почти всегда одинаковые, но разных почему-то цветов, Яша отдирает, хотя мама не любила, когда он их показывал приятелям. Газета, естественно, была коммунистическая, но и она на некоторое время перестала приходить, когда агрессивный Израиль вместе с империалистами напал на свободолюбивый Египет. Международные вопросы, в отличие от бытовых, дед любил обсуждать с Яшей, но внук не всегда его понимал. Дед не спешил проклинать израильских агрессоров, хотя империалистов, затеявших в это же время венгерский мятеж, решительно осуждал.

Дед кончил, заодно, рассматривать газету с непонятными буквами, затянул ремень, взял свое белое покрывало с веревочными висюльками и начал сгибать колени между кроватями. Накинул покрывало на голову и плечи и стал кланяться, завывая и бормоча непонятные слова. Он несколько раз пытался объяснить Яше основы иврита, дальше первых букв дело не пошло, поэтому внук не знал, что сегодня смешной, страшный (сестра Юлька цепенела от ужаса, если попадала на такие бормотания) и, если честно, не всегда хорошо пахнущий старик молился, поминал всех тех, с кем не раз мог встретиться уже на том свете. Особенно когда в конце 41-го года гнал по военным тылам двух сражающихся гигантских армий совхозное стадо, которое ему было подотчетно как главному бухгалтеру. Завшивел, но дошел со своими четвероногими цифрами до тех, кто по закону мог пустить стадо под нож.

Завывания усиливались, когда дед разгибал колени и, закатывая глаза, появлялся на уровне Яшиного лица, внук лишь сильнее вжимался в продавленный матрас, неравномерно

покрывающий бугры растянутых пружин. Дед начал упоминать имена детей, он молился во здравие сына, снохи и внуков, исполнял перед богом свои обязанности патриарха, главы семьи не менее тщательно, чем до этого – обязанности последнего мужчины, помнящего род предков.

Конечно, можно по-разному видеть пружины его эгоцентрического поведения, но другие объяснения не подходят исторически крепкой фигуре Ефима Срулевича Рабиновича, маленького, круглого, с большой налысо бритой головой человека, ведшего жизнь совсем по-другому, чем остальная уральская провинция. Мелочи его не интересовали, только крупные вещи: бог, мир, судьба. Внуков и прочую «мешпуху» он видел на периферии круглых выпуклых очков менее крупными фигурами. «Вус!» – он кричал бабушке Сарре понятное им обоим слово, когда она пыталась приспособить своего Фиму хотя бы к походу за хлебом.

Слово-то было им известное, но вот общего языка старики не находили. Если Яша не понимал деда, поскольку тот и не собирался объяснять свое поведение или не знал, словно пораженный избирательной немотой, что будет понятно ребенку, то в отношениях стариков все способы были давно проверены и закрыты избирательной же глухотой. Слышать друг друга они не хотели. Тем более что Ефим Срулевич даже думать старался на другом языке. Дед пристрастился к искусственному эсперанто, считал, что именно на нем должны общаться народы разных стран, чтобы не было недопониманий и конфликтов, – и вступил в конфликт с семьей, помнящей, к чему совсем недавно приводили попытки личных (пусть и письменных!) контактов с иноземцами. Потому и дома деда видели лишь тогда, когда он уставал от долгих разговоров с немногими в городе единоверцами-эсперантистами.

Ефим Срулевич убрал на полку свое покрывало и сел к приемнику. В комнате, понятное дело, как у всех, была черная тарелка репродуктора, но ее слушать было неинтересно: или длинные речи, или одна и та же музыка. Яше иногда, особенно поздним вечером, когда не хотелось засыпать при свете, как маленькому, было любопытно послушать разнообразное шипение, гудение и мычание дедова приемника. Но не днем! Ура, значит время сна кончилось, и Яше можно было вставать и бежать на битву с бурьяном!

А деду пора было начинать свою заочную конференцию – сопоставление разных голосов. Шкалу сияющей лаком «Балтики» прикрывала аккуратная белая картонка с прикрепленным в середине шпешком, чтобы было удобно снимать заглушку и открывать шкалу. Уход за приемником был единственным хозяйственным делом, которое позволял себе дед, «Балтика» потому сияла, что Ефим Срулевич не позволял бабушке прикасаться к приемнику тряпкой, завел даже специальную перьевую метелку для ликвидации пыли, какое-то воронье или голубиное крыло. Кто ему объяснил, что от состояния лака зависит качество звучания – неизвестно. А может, он просто интуитивно служил своему органу общения с большим, не провинциальным, миром.

Звук был важен смыслово, а не для красоты, поскольку радиостанции, интересовавшие деда, не музыку передавали, а слова на разных языках, понятных деду. Поэтому многие из них глушились и приходилось ловить малейший шанс что-нибудь услышать, прежде чем вой глушилок забьет смысл. И картонка была со смыслом: на нее дед наклеивал тонкую белую бумагу, а на бумаге бисерным почерком записывал время выхода той или иной радиостанции на ту или иную частоту. И пока глушилка не успевала подстроиться к перескочившей на новую частоту станции, Ефим Срулевич получал свою порцию информации.

Бумага со временем истрепывалась, карандаш и чернила размывались, засаленные, хотя дед и мыл руки, прежде чем сесть к «Балтике», стоявшей на единственной в комнате тумбочке у окна, она как раз помещалась между кроватями. Засаленную бумагу дед заклеивал чистенькой, до этого скрупулезно переписав на нее не утратившие актуальности данные об эфирном расписании двух десятков радиостанций. Для лучшей их ловли дед потратил, выдержав битву с бабушкой, значительную часть своей пенсии, заказал больничному слесарю установить на крыше тонкую и длинную трубу и превратить ее в антенну. Так она и маячила на крыше одноэтажной пристройки к больнице, прямо напротив дверей, куда люд со всей области ломился за

бюллетенями. Бывало, стоят в очереди, а из окошка напротив доносится: «Вы слушаете «Голос Америки» или «Шалом!» – и бравурная музыка (провинциальные евреи считали, что это марш главного советского композитора Дунаевского, написанный им по заказу израильского правительства), старинная песня, ставшая национальным гимном.

Больше всех из-за этого переживала Яшина мама: испортит же дед Фима карьеру молодому партийному журналисту, Яшиному отцу. Если даже его самого, пенсионера, в нынешние оттепельные времена и не посадят. За занавеской, отделявшей хозяйственную часть комнаты, с керогазом и помойным ведром, от спальни, на шкафу одно время стоял предшественник «Балтики» – трофейный «Телефункен», с красивой вертикальной шкалой. Дед Фима как-то расщедрился и подарил старый приемник безлошадному сыну. А потом стал приходить в гости в полуподвал к молодой семье и слушать вражеские голоса с друзьями, объявившимися у него в бараке, полном таких же, как он, «пикейных жилетов», потерявших в эвакуации привычную южную среду. Яшина мама добилась, не без скандала, изгнания вредного трофея.

Похожая история произошла и в менее провинциальном городе, куда вскоре с повышением перебрался молодой журналист, а вслед за ним и его семья. Яша ожидаемо серьезно заболел, встать с постели ему запретили, а его маме надо было выходить на работу. Чтобы не потерять учительскую квалификацию, да и голодно вчетвером на одну зарплату. Деда вызвали сидеть с внуками, бабушку держали архив и хозяйство. Он приехал и решил сразу вдвойне осчастливить потомков: объявил, что готов дать деньги на пианино, чтобы Юлька училась. Половину средств из отложенной на сберкнижку пенсии он предоставлял безвозмездно, а половину давал в долг. И пианино привезли, Яша слышал возню в коридоре, и оно уместилось в их новой квартире!

В новом городе Яша жил уже не в барачном полуподвале, а на первом этаже большого дома. Две комнаты из трех – жилплощадь, выделенная начальством отцу. А в третьей комнате поселился приехавший из деревни демобилизованный сержант Саша, умевший вырезать на токарном станке круглые балясины и приделывать их к сколоченному самостоятельно буфету, установленному на общей кухне. Настоящий рабочий! – думал Яша, хотя их сосед трудился в охране. Саша вообще был правильным человеком, пил очень редко, пытался с Яшиным отцом играть в шахматы, хотя и не понимал, почему он всегда проигрывает. Сержант был подкован и политически: однажды, когда у Яшиных родителей были веселые гости, он выскочил красный в коридор и неожиданно закричал своим сержантским голосом: «Немедленно прекратить!». Это его так взволновал рок-н-ролл, под который редакционный художник, богемная натура, отплясывал с Яшиной мамой. Не в том смысле взволновал, что музыка громкая, Саша и сам любил вдарить по кнопкам на баяне, а в том смысле, что музыка идеологически неправильная, по мнению бывшего сержанта.

И вот в эту-то правильную, идеологически выдержанную квартиру Ефим Срулевич стал приводить знакомых, которых он в большом городе легко обрел, пользуясь наслушанной эрудицией и репутацией всемирно-известного эсперантиста, и вел с ними долгие громкие беседы на кухне. Яшина мама сердилась вдвойне: дед Фима не сидел с ребенком, ради чего его вызвали, а вместо этого опять ставил под угрозу карьеру сына. Вдруг охранник Саша стукнет начальству!

Ефима Срулевича попреки разгневали. Он собрал манатки и вернулся к родной «Балтике». А потом прислал письмо, в котором сообщал неблагодарным детям, что решил полностью взыскать с них стоимость пианино «Октябрь», но принимая во внимание трудности их жизни (маленькие зарплаты и болезни детей), готов получать деньги по частям, ежемесячно. И пошли переводы из одного города в другой. А когда однажды в срок не попали, поскольку в редакции задержали расчет, то тут же пришла недоуменная телеграмма, пришлось объясняться и извиняться.

Выплатили все до конца, успели до смерти Ефима Срулевича. А незадолго до смерти он прислал письмо, в котором очень хвалил за прогрессивную правду публицистическую книжку

Яшиного отца, признавался в любви к Юльке и называл Яшину маму настоящей еврейской женой и матерью. Главное сказал.

Яша с отцом полсуток мчались на редакционном газике, когда стало известно, что Ефим Срулевич не встает. Отец молчал, а Яша разглядывал пейзажи, впервые для него так долго и широко раскрывающиеся перед лобовым стеклом. В больнице их пустили в палату. Дед Фима был еще жив, но обречен: его изношенное сердце помогала добивать кишечная непроходимость. Яша смотрел на его раздувшийся живот и ничего не понимал.

Tiger, tiger...

Румянец, как выяснилось в разговорах спустя десятилетия, выделили все. Не только художник Володя Иванов, который умудрился его обозначить на портрете пером и тушью. Вот и я первым делом заметил его на лице девочки, проскользнувшей, как бы не касаясь общежитского гомона, с лестницы мимо кухни в свою комнату. Далеко идти не надо было, несколько ее длинных шагов, но румянец, непохожий на московскую бледность, успел отметиться. Ага, комната почти напротив нашей.

Люба ее зовут, Любушка – это подруги потом сказали, когда я, уже знакомый с ними, пришел в эту комнату после новогодних каникул. Имя какое... Ответственное. Почти фольклор. Тут не запросто. С Веркой, ее соседкой и «своим парнем», можно было не задумываться о тональности, а с этой... Вон как легко, хотя и не торопясь, отвечает на реплики, не понять только – насколько глубока ирония, что за ней: насмешка, неприятие, может, приставания общежитские противны, недаром никто не видел, чтобы она общалась с кем-нибудь за пределами комнаты в эти первые полгода нашего курса. Наверно, у нее, такой яркой, интересные московские знакомства.

Красива настолько, что даже мысли не возникает примериться. Смоляные брови параллельно таким же вразмах смоляным волосам, почти горизонтально парившим, несмотря на явную тяжесть, над землей и, кажется, над нами. Зеленые глаза, смотрящие прямо, а то и насквозь. Сибирячка? Как в песне – бирюсинка? Еще дальше – Яблоновый хребет. Становой. Вот-вот, подходящее название. Крепкая, гибкая, переходя в метафизику – становая, главная, что ли, в любом случае – обязывающая. Пушечные колени, как длинные стволы и закругления старинных пушек. Ну явно не для меня. И дело даже не в робости или неверии в собственную удачу. Понимал, что рядом богатство, а какое я к нему имею отношение, – нет. Видно же, что жизнь у нее совсем другая.

...Я писал об этом коротко в «Страдательном залоге», возвращаюсь, как бывает, когда еще раз хотят объясниться, разобраться в чувствах. Тогда, с одной стороны, представлял, что для меня первая физическая близость – это железный шаг к женитьбе, хотя опыт наблюдений над соседями и соседками убеждал в наивности представления. С другой стороны, был готов отдать себя чужому человеку, лишь бы он сказал, что я ему очень-очень нужен. Но вот действовать, не загадывая, раскрывая в себе и в другом человеке то, о чем умозрительно не предполагал, – не был готов.

А может, просто не созрел для полноценного любовного желания, когда не гормоны требуют близости, а радость узнавания подталкивает и освобождает. Одно дело – целоваться со школьной еще подругой, которую долго искренне считал невестой. В рамках роли она и сама не хотела переходить грань, и меня не допускала. Или, например, как бы шалеть (шалить?) от факультетских разбитных барышень, доставлять им нужные радости, ни на что не претендуя и ничего не требуя, всегда готовый отступить, не сильно обижаясь. С Любой – очевидно особый случай. Человек самодостаточный. Решающий сам, что, кто и зачем ему нужен. Придется взаимодействовать, безо всяких задуманных ходов и гарантий наперед...

Но поговорить-то хочется! Особенно после того как сожрал, пользуясь Веркиной благосклонностью, здоровый пласт красной рыбы – Верка не сказала, что рыба Любина, амурская. Еще и высказался по поводу оставшейся от куска шкуры, что, наверное, из нее обувь шьют. Неловко? Пропадать – так по полной! А я вот клубничное варенье до того уважаю, что могу банку, не отрываясь от горлышка, одним духом выпить. Что, и варенье Любино? Тем более!

Ягоды оказались крупнее, чем представлялось через стекло банки из-под венгерского лечо, глотать трудно, давился, да и банка большая. Выдержал. Минут пять посидел, задерживая

в себе выпитое, а уж потом рванул в туалет. Но открыто вроде никто не засмеялся. Значит, можно продолжать общение. Без взаимных обязательств.

Хотя, как обреченный, пошел за нее драться с приставшим Ибрагимом, тот выглядел явно более сильным и умелым. Но – «Не могу молчать», как принято у русских писателей! Ибрагим спросил: «Твоя девушка?», а я даже не сообразил ответить, какое его дело, и что вообще у нас не принято внаглую тянуть за руку малознакомых людей. А он перестал многозначительно разминать кулак, принял мое молчание за согласие и уважительно отступил. Даже и тогда я не подумал о Любе, как о «своей девушке».

Дошло до того, что принялся ее «сватать» своим, настоящим ребятам. Говорил Вовке (Кузьмищеву, он сейчас очень болен, пишу его фамилию, стараясь закрепить его среди нас, добавить сил): ты посмотри, какая! Замечал, говоришь, ее румянец? Хочешь, познакомлю, у меня-то с ней ничего серьезного не получится. И пришли мы втроем в «Казбек», была такая отличная шашлычная внизу кинотеатра повторного фильма у Никитских ворот, даже лучше «Эльбруса», на который с другой стороны улицы Горького искоса посматривал медный Пушкин. Взяли «по-карски» и «мукузани», не очень много говорили, Вовка внимательно нас разглядывал, как потом выяснилось, чего-то такое заметил. Вернулись на Ломоносовский и разошлись по комнатам, мы с Вовкой в одну, Люба – напротив...

Январь (а это ее месяц, 21-го родилась) был настоящим, метельным, гулять и разговаривать было хорошо: снег кружащейся сеткой, такой как у Шуховской башни, отделял от посторонних, зажигал румянец. И этого огня хватало для поддержания радости. А радовала литература. В своем Экимчане в библиотеке она выделяла те же книги и журналы, что и я в Уфе. Из молодых – Аксенова, Шукшина, Маканина, из вновь открывшегося – Бабея, Платонова, раннего Эренбурга. В общих любимых книгах мы находили общий стиль отношений: прямой, но не эгоистичный.

О стихах говорила скупее, если кого и выделяла, то не чувствительных поэтесс, а пряное, крепкое. Становое. О чем я и не подозревал. Блэйка. «Тигр, о тигр, светло горящий в глубине полночной чащи, кем изваян огневой, соразмерный облик твой?» – так запомнилось, но это перевод, она произносила по-английски: «Tiger! Tiger! Burning bright...»

А я ей читал из переписанных в тетрадки запретных «Жемчугов» Гумилева, из сборника павших поэтов – Павла Когана, честные и романтические, страшные предвоенные (и смутно протестные, вроде бы, и про наше время) строки из его недописанной поэмы: «Мы кончены, мы отступили... а век велел – на выгребные ямы...» Вознесенского она иногда помнила точнее, чем я. Новеллу Матвееву могла очень чисто пропеть. И еще мы вместе вдумывались в строки Мандельштама, запоминавшиеся с первого прочтения машинописных размытых копий, ходивших по общежитию.

Почему-то, несмотря на наглядный избирательный ее вкус, я совсем не боялся читать свое. Потому что ничего не добивался! Не хотел понравиться, а старался предложить, что имею, в ответ на ее явные ценности. Она любила кино, в таежном Экимчане не пропускала ни одного фильма, очень по-своему, с добавкой звериной пластики, показывала танец разбойников из «Айболита». Тигр! Амурский.

Ходили долго и далеко, чтобы наговориться. Темнело рано, да еще метель, так что возвращались совсем отделившиеся от мира, в коконе снега, полночь. Но обычно не мерзли, как мне казалось, несмотря на ее легкое пальтишко, совсем не таежное. От «Литвы» один раз добрались до Матвеевского (давно уже шел февраль – мой месяц). Пустая платформа без электричек (поздно?), мостик над Сетунью, по речке под крупноячеистой сеткой снежных хлопьев, важно и степенно, переговариваясь, парами плавали утки.

И мы на обратном пути впервые взялись за руки. Согреться.

Зазноба

– Дочкина мама приехала!

Ну вот, вспоминается бессмертная фраза Свята. Когда он спланировал из окна второго этажа прямо на дорожку перед входом в малометражное общежитие на Ломоносовском, то тоже слету про маму сказал. Мы с Верой как раз подходили, так что видели все стадии полета. Приземлившись после почти профессионального десантного прыжка, он выпрямился и, слабо похохатывая, объяснил: «К Идхен мамаша пожаловала». Мы вообще-то догадывались, что они запираются в пустой комнате, где на время каникул свалены голые матрасы. Сразу представили себе, как мама Иды Гесс, с сумками после утомительного рейса из Караганды и долгих поисков по этажам, уговаривает добропорядочную немецкую девочку открыть дверь, а та возится с ключом, пока Свят одевается и готовится к прыжку. После того случая вся наша «шаланда», обученная Святом правильно сгибать ноги перед посадкой, хотя бы по разу попробовала повторить его полет.

Прошло два года. И вдруг сейчас кодовую, все объясняющую и тревожную фразу произнесла Вера.

– Сходил бы, поговорил.

Конечно, как «дочка» – так обоих, а как заступаться за Наташку – так «папа». Папаша! Я тоже из младших на курсе, но Наташка – вообще сосунок. Сейчас ей, конечно, уже девятнадцать, тонкая девочка с выразительными формами, а все равно воспринимаю ее именно как дочку. Как тогда, когда по трубе и карнизу влезал в окно на нашем втором этаже в Верину комнату, а Наташкина кровать была под подоконником, и я шептал, готовясь ее перешагнуть: «Вера, закрой Наташку, простудится». Недавняя школьница, оказывается, тогда была недовольна моей реакцией на ее наготу. Но нашу с Верой опеку принимала с радостью. Кто-то же должен быть близким в общежитии такой домашней девочке!

– Что, до Эссентуков дошли африканские страсти или это плановый визит?

– Иди-иди, какая теперь разница. Маму зовут Надежда Евгеньевна.

Иду-иду по длинным, широким и низким пустым коридорам зоны «Б». Только в МГУ, построенном эсками и пленными, могли назвать отдельные башенки или стороны главного здания зонами. Как-то давит на глаза вся эта тюремная красота, напоминающая снаружи и внутри египетские погребальные конторы. А может, ответственность гнетет? Что я скажу справедливо взволновавшейся мамаше?

– Здорово, Карим!

Этот афганский лысый пожилой тридцатилетний мужик, один из вождей тамошней компартии, старинный житель нашей общаги, напомнил о недавнем случае с Наташкой. Почему-то ее залюбили наши иноземцы, такую русскую-русскую, как на банной картине Пластова. Почти все – платонически, то ли воспитание препятствовало, то ли ее наивный возраст. Обычно не приставали, но подарки делали. Хасан из Парижа пластинку с эротическими вздохами привез, дал послушать, видимо – для ускоренного взросления.

Вот ее-то и напомнил Карим. Правда, пластинка возбудила не афганского коммуниста, тихо избивавшего свою жену до синяков, а наоборот, афганскую же принцессу, воспитанную в гареме. Гостя, заглянувшая на звук, раз за разом ставила пластинку, кружила по комнате. Когда заскучившая Наташка вышла, принцесса в одиночестве продолжила свой бесконечный танец, распустив руки, как гусыня – крылья. А потом принялась раздевать вернувшуюся русскую хозяйку и хватать ее за грудь. Наташка хихикала, уворачиваясь, но та шипела и щипалась по-гусиному и все больше входила в раж, пришлось звать на помощь. Вбежал Юрка Колманович, с порога заорал принцессе на знакомом ей матерном языке: «Ты что, мать, одурела?»

Принцесса швырнула в него поленом, которое своей выдолбленной верхушкой заменяло в комнате пепельницу, и убежала, вращая глазами.

Юрка под это дело стал Наташку утешать и продолжал давно начатое соблазнение: «Я же тебя так любить буду, как никто из наших сопляков не умеет, всюду-всюду поцелую». Мне не хотелось представлять дочкино тело, поэтому я даже про себя не называл ту его часть, которую конкретно обозначал многоопытный Юрка. «И чего ты в этом негритенке нашла, я же лучше!» – уверял Колманович. А я вот должен убеждать Наташкину мать, что и негритенок – ничего...

Та-ак, сцена выразительная. В большой трехместной комнате все собрались у одной кровати. Наташка почему-то под одеялом, в ногах сидит ее верный Салам, на стуле рядом, в расстегнутом пальто, платок на плечи скинула, прямо с минеральных вод – мама. Пахнет валерьянкой.

– Здрасьте, Надежда Евгеньевна!

Ого, валерьянкой-то от дочки пахнет, а не от матери. Наташку колотит, бьет крупный озноб. Салам, оказывается, не от отчаяния хватает ноги ускользящей невесты, а греет их сквозь одеяло. Все болезни от нервов... И валерьянкой не лечатся. Мать уже и пальто сняла, поверх одеяла набросила, а Наташку все колотит. Говорить-не говорит, но и так ясно, отчего ее знобит.

Приходится говорить мне. Счастье не бывает длинным, а несчастье может не быть коротким. Если ребята хотят идти в загс – пусть идут, если это им кажется сейчас путем к счастью. Никто не даст гарантии, что оно продлится всю жизнь (Салам перестал кивать головой), но вы же видите: она не сможет простить себе – и вам(!), что упустила возможность. А знаете, сколько у нас тут летит ребят из окон высотки? Пацаны, в основном, по пьяни или дури, а девчонки – от несчастной любви. Одна, правда – от рейда комсомольского оперотряда, от которого она пряталась за шторой на подоконнике, отряд ворвался – сквозняком хлопнуло раму, девочка так и полетела голенькой с восемнадцатого этажа. Вы что, хотите, чтобы ваша дочка пряталась от оперотряда? (В третий раз за час вспомнились общежитские окна...)

Лучше уж пусть женятся, глядишь, Салам вернется из своей Танзании на работу в посольство, как ему обещают, будут жить в Москве – и лучше нас всех! Да у нас тут многие флиртуют с иностранцами, не обязательно – из корысти узнать заграничную жизнь, вот Наташкина тезка вышла замуж за Эухенио, а ему в свою Латинскую Америку путь заказан, он там объявлен русским шпионом. Понимаете, это для них – хоть какая-то свобода после общежитских лучших в мире тюремных казематов. Вы должны дочку понять, вы же знаете наших мужиков, а эти вот – внимательные, слова хорошего не жалеют, веселые, не пьют, в конце концов!

Говорю, а вдруг понимаю, что меня-то Наташкин озноб интересует не только от сочувствия, но и как-то филологически. Вот что означает цыганское слово «азнобило», вот откуда дворовое, барачное, а вовсе не книжное слово «азноба». Страсть наружу, когда в голову не приходит ее скрывать, когда тоненький голосок первой любви становится гибким и сильным, как шпага, когда дорафаэлевское лицо Наташки с близко посаженными глазами и тонким носом – красивее любой Венеры, хотя и стучит эта красота зубами о край стакана, когда слипшиеся от жара длинные тонкие светло-русые волосы высветляют фоном ее непререкаемое желание, делают его выше и разума, и тела.

Идхен путалась с парнями, потому что считала, что ее, некрасивую толстушку, никто по-настоящему не полюбит, врала себе на секунду. Принцессу крутило по комнате презрение к условностям, привычка исполнять любой каприз, дикость чужого всем – и своим соплеменникам! – человека. А Наташка по-русски поверила в судьбу, ее страсть даже физиологией не объяснить. Откуда у девятнадцатилетней необоримая тяга к мужчине? А что – мне Андрюха все подробно объяснял, Андрюха дело знает, он даже рисовал всей «шаланде» графики, чтобы совпадали пики наслаждений у женщин и мужчин. Так что недаром Наташку не заманили

Юркины обещания невиданных удовольствий. Этот же, ее первый, курчавый, ведет ее за собой – потому что видится единственным.

Поэтому и загс, а не затем чтобы не прятаться от оперотряда. Комендант общежития перед нашей с Верой свадьбой мечтательно напутствовал, «вы теперь сможете говорить друг другу любые непристойности». Открываться до доньшка – в его понимании. Не бояться реакции другого человека, не стыдиться своих причуд – если обобщить...

А если конкретно, то Вера? Она так может чувствовать, как Наташка? Не было меня полгода, в общаге пьянка по случаю моего приезда, уединиться негде, пошли под вечер на бульвар. Иван увязался за нами, все рассказывает, читает новые стихи, трубно спрашивает мнение, не понимает, почему я его гоню, обещаю скоро вернуться и почитать свое, но потом! Вера идет рядом, не поднимая глаз... Рука ее дрожала! Я остановился, толкнул Ивана в канаву, он с недоумением смотрел оттуда, как мы бежим, взявшись за руки, как перелазим через забор ботанического сада. А потом около наших замеревших лиц деловым шагом садового сторожа прошел еж... На следующий день мы отнесли заявление на Фрунзенскую набережную. И Иван через месяц напился на свадьбе...

Не знаю, может это я дрожал, а Верина рука просто была в моей руке. Кто тут для кого «зазноба» – у мужчин и женщин, наверное, и дрожь по-разному.

Уже потом, тридцать лет спустя, я узнал, что отец признавался в письмах, как в молодости дрожал, глядя на маму. Или это она рассказывала... Или это про них знакомые говорили...

А Наташка, правда, быстро развелась. Салам в Москву после диплома не вернулся, она в Африку не захотела. Вышла замуж за другого, отечественного, родила от него двух дочек. А потом тоже развелась. Не судьба.

Лапа

Помнишь тех стариков в окне полуподвала? В кривом переулке желтые дореволюционные дома, темно, одно это окно и светилось, раскрывая старый московский цвет. У края окна стоял старик в белом полотняном белье, нас снаружи, в темноте, не видел, а внутри, не оборачиваясь, знал, где старуха. Он разговаривал с ней на идише, точнее, говорила она, в белой полотняной рубахе расстилая постель, а он отвечал привычными короткими репликами.

Мы почему-то смеялись, глядя на этот театр теней, очевидно, как в недалеком от нас детстве, было радостно, что нас не видят, а мы – видим. Наша жизнь, пусть сейчас и в темноте, но не ограничена стенами, а их, яркая и бедная, вся на ладони. Такая маленькая осталась...

Что же я, хочу сразу тебя запереть в нашу маленькую жизнь? «Мы спина к спине у мачты против тысячи вдвоем...». Нет, конечно, езжай в этот Калининград: море, областная газета... Полтора месяца практики. Жаль, что их мы вычтем из тех месяцев, что у нас получились бы вместе в этом году. Ничего, наверстаем. Велела Люба не грустить – и не грущу...

С вокзала уже один, в эту коммунальную квартиру напротив американского посольства, где нам было так хорошо у Лики. Хотя, сравнивая уровень жизни в ее комнатках с уровнем жизни, представленным напротив, мы говорили, что подземный переход через Садовое кольцо – это переход от военного коммунизма к капитализму.

Лица и ее клика. Вокруг нее всё крутилось, хотя она сама не всегда была заводилой. Вот на днях, светлой июньской ночью, пока мы, непонятно зачем, буянили в тихих переулках вокруг Арбата, она куда-то исчезла.

Когда ее муж Генка ухарски взломал вагончик строителей и на память свистнул оттуда топор – была, даже пыталась предотвратить. Когда мы с Полухиным вломились в вестибюль тихого афганского посольства (это было не последнее вторжение в Афганистан) и, оглядев непривычный интерьер, решили отмотать немного от устилающего парадный вход огромного роскошного ковра, тоже была неподалеку, слушала потом вместе с Любой наш рассказ об этом подвиге. А потом пропала.

Стоп. Надо остановиться, приглядеться, может, и не пойму этот приступ идиотизма, но хоть детали рассмотрю. А вдруг они чего расскажут? Итак, незапертые двери, стул, что ли, наружу вытащить и к будке поставить? А ковер-то какой! Да, на вывеске же – Афганистан. Метра два в ширину и метров пятнадцать в длину – по всей парадной лестнице к торжественному приему. Вот и Витька за мной заглянул. Нет, такую роскошь мы не утащим, не богатыри какие. Давай сядем на пороге, потащим на себя, ну тяжелый, говоришь, метра в длину хватит? А дальше чего? Во! Топор пригодился. Можно отскубать кусманчик. А если спросят, что это мы тут делаем? Скажем: «Велено обрубать!»

Верное сочетание! Практически бронебойное. С одной стороны, как отец любил повторять: «Ломать не строить, душа не болит», с другой стороны: «Ваше задание выполнено!» Взаимное удовольствие: и грех на душу не взял, и гадость свою выплеснул. Да и что еще могут повелеть к немедленному исполнению, кроме как обрубать, обрезать и искоренять? Как я, записывая это, подумал. Но тогда мы с Полухиным понимали это без рассуждений, потому и было смешно...

Посмеялись, пошли к ребятам рассказывать. И вдруг Лики нет. Ходили, искали, волновались – уж не замели ли? (Замести, по идее, должны были нас, но этой странной ночью было так пустынно. Даже в будочках посольской охраны...). А потом подняли трезвеющие головы – она сидит, аккуратно сложив руки на коленях, на откуда-то взявшемся (из посольства?) стуле наверх детской горки и говорит: «Чего это вы кругами ходите?»

Сознание ее разорванно, точнее – дискретно, она внимательна к деталям, но не всегда спешит с логикой. Любимая фраза: «И тут вдруг все забегали-забегали», вот и сейчас никак не понимала, что это мы ее ищем, отключилась от нас.

Хотя она всегда была ферментом закваски. В школе бузила, уходила по карнизу из запертого кабинета директора школы №39 города Уфы. Разумеется, из школы ее исключали. Стихи писала негладкие, романтически-бунтарские, что по тем временам, да в провинции, – уже дерзость. Родила в 17 лет, быстро разошлась с мужем-студентом, писала заметки в газету.

Когда она рассказывала о своих последних приключениях моим родителям (у матери моей она доучивалась в вечерней школе, отец правил ее первые заметки), я обмирал от сопереживания.

– А помнишь, как ты пацаном под столом сидел и подслушивал? – Это Лика до сих пор любит повторять. Хотя теперь она не Лика, а Лапа, так ее Генка Полькин, новый муж зовет, с которым мы на журфаке учимся. Точнее – «Вапа», это он так аристократически картавит, хотя вполне разночинного происхождения, алтайский. Но и она новую фамилию произносит не запросто, из-за привычной мимики, вытягивая слегка и округляя губы, говорит «Пулькин».

Лика-то как раз из начальства, отца в Москву в ЦК перевели, она на филфак МГУ попала, где среди ее подруг – Юлия Андропова. Отцовские связи выбили ей эти две комнаты в коммуналке, третью занимал гэбешный полковник в отставке, а на этаже под ними – огромная квартира Кончаловских.

Лика подкармливала меня, а потом и Любу с первого курса, как впрочем многие осевшие в Москве ученики отца. Не всегда находился пяточок на троллейбус, несколько раз ходил (а потом и ходили) пешком к ней из общаги на Ломоносовском – мимо китайского посольства, потом вниз (сейчас и не помню, как назывался этот спуск от смотровой площадки мимо правительственных дач, улицей Косыгина это не называлось – он еще живой был, предсовмина) и через Москву-реку, парящую на морозе, – по Бородинскому мосту. Вела не то чтобы надежда на пирожок Ликиной мамы, а сам дух сопротивления – наперекор метели, безденежью, собственной малости в чужом огромном городе. В подобных путешествиях мы вот и определились с Любой «...спина к спине у мачты», м-да...

Они тоже сразу скорешились, хотя разница в возрасте и опыте была значительной. Лика нас понимала, для нее было естественно, что у нас нет денег снимать комнату, что нам не находилось места в общежитии, где бы – расписанные муж и жена! – могли быть вместе, Лика с Генкой и пускали нас к себе пожить, когда Ликиного сына Валерку отправляли к сановой бабушке. А мы, конечно, слегка обезьянничали в отношениях, посмеиваясь и учась. «Уронили Лапу на пол, оторвали Лапе лапу, все равно ее не брошу, потому что я хороший!»

...Пришел – а народу, как всегда, полна коробочка: Полухин, Олег, Мара из дешевого вина варят глинтвейн, не потому что холодно – тепло, июль! – а потому что противное, кислое не по-хорошему. Полухин приговаривает, меняя на более актуальную инвективу «хвостик» своей постоянной присказки: «Ну наши дураки! Чехословакию заняли, вина толкового нет...»

И мы туда же – прямо с вокзала влез в разговор о самиздате, хотя чесалось прочитать свое. Ну вот этот ваш, Козлов, что ли, пишет о том, как все тоскливо, плохо, даже у женщины, до которой добрался, влагалище ему не нравится. Как оно может быть плохим, если ты именно его хотел?

– Обычное дело! Ухнул в разницу между ожидаемым и достигнутым! – это Витька. А Олег добавил, что неудовлетворенность – она внутри, наружными средствами не лечится.

Умники! Вот лучше послушайте:

Окончилась пора нагаек
и наступил позор статей.
Озлобленная и нагая

явилась Правда на расстрел.
Но лейтенант сказал: «Смела!
Тут очередь, накиньте плащик».
И он открыл железный ящик
и снова просмотрел дела.

Витька отозвался: «Эка, батенька, вас на пафос потянуло, хотите защитить «Новый мир» от «Октября»? Пора, кстати, не больно-то и окончилась...» Хотя он в свои литературные опыты никого никогда не посвящал, промелькнувшая шикарная фраза «Жена ногу сломала. Пришлось пристрелить» заставляла верить его вкусу. А Олег добавил, слегка заикаясь: «Т-так их, бюрократов, правильно, Ося! К ним человек пришел, ну и что, что голый, ну и что, что женщина. А они?..» – И дальше завертелось, уже и не глинтвейн, водка пошла – сбегали. А всё болело в груди – как место разрыва, отрыва. Едет в поезде. С кем-то...

Раньше как раз к Витьке-то и ревновал: москвич, эlegantен и остроумен, говорит басом вещи, знакомые ему запросто из кружка Юрия Мамлеева. Чего он к нам в общежитие-то ходил? Общества искал? Но Полухин сам демонстративно отошел от явно симпатичной ему Любы, когда увидел нас вдвоем сидящих на ее койке в общажной комнате. Погладил лифчик, висящий на стуле, сказал: «Атлас!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.